

концептосфера
коммуникатор и коммуникант
структурный
семантическая конструкция
семантическая словоформа
семантические единицы
семантический стиль
коммуникация и актуализация
революционные трансформации
коммуникативная сфера
коммуникативный
картина мира
как иностранный
стиль
коммуникация
коммуникативный код
коммуникация
русский язык
формальный и содержательный
коммуникатор и коммуникант
коммуникативный и структурный
коммуникативная конструкция произведения
коммуникативная конструкция
семантическая словоформа
семантический стиль
коммуникация и актуализация
революционные трансформации
коммуникативная сфера
коммуникативный
картина мира
как иностранный
стиль
коммуникация
коммуникативный код
коммуникация
русский язык
формальный и содержательный
коммуникатор и коммуникант
коммуникативный и структурный
коммуникативная конструкция
семантическая словоформа
семантические единицы
семантический стиль
коммуникация и актуализация
революционные трансформации
коммуникативная сфера
коммуникативный
картина мира
как иностранный

ROSSICA OLOMUCENSIA – Vol. LIII
Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num. 2
Olomouc 2014

Hlavní redaktor – Editor-in-Chief – Главный редактор: prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

Výkonný redaktor – Editor – Редактор-исполнитель:
Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D., Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Redakční rada – Editorial Board – Редакционный совет:
prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc. (Olomouc)
prof. dr. Ulrike Jekutsch (Greifswald)
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Bratislava)
проф. Валерий Михайлович Мокиенко, д.ф.н. (Санкт Петербург)
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (Olomouc)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Brno)
prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (Nitra)
prof. PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. (Ústí nad Labem)
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (Olomouc)
проф. Алла Владимировна Злочевская, д.ф.н. (Москва)

Redakční kolegium – Editorial Advisory Board – Редакционная коллегия:

prof. Alla Arkhanhelska, CSc. (Olomouc)
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (Brno)
PhDr. Jan Gregor, Ph.D. (České Budějovice)
prof. dr hab. Andrzej Charciarek (Opole)
Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. (Olomouc)

Mgr. Jindřiška Kapitánová, Ph.D. (Olomouc)
д-р Екатерина Солнцева-Накова (София)
prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (Olomouc)
PhDr. Ladislav Vobořil, Ph.D. (Olomouc)
PhDr. Marta Vágnerová, Ph.D. (České Budějovice)

Adresa redakce – Contact Address – Адрес редакции:

Rossica Olomucensia, Katedra slavistiky, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, CZ-771 80 Olomouc
l.voboril@centrum.cz

Rossica Olomucensia – Časopis pro ruskou a slovanskou filologii navazuje na ročenku *Rossica Olomucensia* vydávanou v letech 1968-2007. Od r. 2008 jsou pod hlavičkou *Rossica Olomucensia* vydávány dvě řady: 1) **Časopis pro ruskou a slovanskou filologii** (dvakrát ročně) s uvedením ročníku a čísla (např. Vol. XLVII a Num. 1, 2) a 2) **Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké dny rusistů** s uvedením ročníku. Obě řady jsou rozlišeny podtitulem. V r. 2009 byla *Rossica Olomucensia – Časopis pro ruskou a slovanskou filologii* zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Elektronická verze časopisu je umístěna na stránce: http://www.rusistika.upol.cz/veda_a_vyzkum/rossica_olomucensia.html

Vydala a vytiskla Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8, 771 47
www.upol.cz/vup

Odpovědný redaktor: Mgr. Jana Kreiselová

Technická redakce: Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.

Návrh obálky: Ivana Perůtková

Vychází dvakrát ročně (červen a prosinec)
Náklad: 100 výtisků

ISSN 0139-9268 (print)

ISSN 1804-1434 (online)

Reg. č. MK ČR E 18418

ROSSICA OLOMUCENSIA

2

Num.

Vol. LIII

Olomouc 2014

ČASOPIS PRO RUSKOU A SLOVANSKOU FILOLOGII

Adresa, na níž je možno časopis objednat:

Prodejna VUP

Biskupské náměstí 1

771 11 Olomouc

e-mail: prodejna.vup@upol.cz

e-shop: <http://www.e-vup.upol.cz/>

ROSSICA OLOMUCENSIA – Vol. LIII
Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. Num. 2
Olomouc 2014

STUDIE – ARTICLES – СТАТЬИ

БОРИС ЮСТИНОВИЧ НОРМАН: О месте понимания в процессе речевой коммуникации	5
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ПОЛЕВА: Функции мотива исчезновения в раскрытии авторской концепции творчества в романе В. Набокова «Дар»	23
НАДЕЖДА БАЛАНДИНА: Ассоциативный эксперимент как средство изучения языкового сознания.....	39
ТАТЬЯНА АРХАНГЕЛЬСКАЯ: Диссимметрия категорий рода и пола в системе славянских личных существительных.....	55
ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПОЛІЩУК: Ономаціологічні структури номінативних одиницьна позначення інтелектуальних характеристик людини.....	73

RECENZE – REWIEWS - РЕЦЕНЗИИ

ULIČNÝ, O. – SCHNEIDEROVÁ, S. (Eds.): Komunikační situace a styl 2/ Studie k moderní mluvnici češtiny. (Helena Flídrová).....	83
POSPÍŠIL, I.: K teorii ruské literatury a jejím souvislostem	86

INFORMATIVNÍ STATI, ZPRÁVY – NOTES/NOTICES – ОТЧЕТЫ/ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИННА КУЛИШ: Лингвистический статус авторских высказываний в русистике (фразеологический аспект)	89
JINDŘIŠKA KAPITÁNOVÁ: 4. mezinárodní slavistická konference - GranaSlavic 2014.....	96
JAROSLAVA NĚMČÁKOVÁ: Návštěva profesora M. A. Krongauze na katedře slavistiky FF UP	98
ZDENĚK PECHAL: Mezinárodní konference o emigraci v polském Opolí	100

БОРИС ЮСТИНОВИЧ НОРМАН

Республика Беларусь, Минск

О МЕСТЕ ПОНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

К 75-летию
проф. Валерия Михайловича Мокиенко,
доктора honoris causa
Университета имени Палацкого

АБСТРАКТ:

The place of comprehension in the speech communication process

The paper treats some communicative acts which can take place without understanding the meaning of the text. It concerns special situations defined by the aesthetic, poetic or phatic functions of the language. In the particular case, these situations are aroused by the use of a foreign or an artificial word. The role of the unknown (unintelligible) word is analyzed from the speaker's and listener's viewpoint, that is in psycholinguistic and sociolinguistic aspects.

KEY WORDS:

Comprehension – communicative act – discourse, artificial word – unknown word – aesthetic function – poetic function – phatic function – agnonym – taronym.

Процесс коммуникации включает в себя понимание, т.е. осознание того, что является содержанием высказываний и, шире говоря, текста. В голове у говорящего формируется некий Смысл 1, он кодируется с помощью языковых единиц и передается слушающему. Слушающий, воспринимая речевое сообщение, декодирует его с помощью той же знаковой системы, и в результате в его голове формируется Смысл 2, более или менее адекватный первому. Такова классическая схема процесса коммуникативного акта.

Однако заметим, что говорящий далеко не всегда стремится донести до слушающего какой-то «смысл», его речевой акт может преследовать иные, побочные цели. Дж. Серль приводит в одной из своих статей такую гипотетическую ситуацию [Серль 1986: 159–160]. Американский солдат во время Второй мировой войны попадает в плен к итальянцам. Он хочет сделать так, чтобы его приняли за немецкого офицера (в расчете на то, что итальянцы немецкого не знают). Но и сам пленник по-немецки не говорит. Зато он помнит строку из стихотворения Гете, которое учил в школе: *Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen?* И рассчитывает с помощью этого высказывания произвести соответствующее впечатление на итальянцев. Контраст между локуцией и иллокуцией здесь очевиден: произнося фразу, означающую ‘Ты знаешь край лимонных рощ в цвету’ (русский перевод Б. Пастернака), говорящий вкладывает в нее смысл ‘я – немецкий офицер’. Пусть это особый, исключительный или даже искусственный, пример. Но разве так уж редко вокруг нас звучат фразы, имеющие своей целью больше сказать о самом говорящем, чем о некоем референте, составляющем собственно содержание фразы?

Показательна в этом смысле речь некоторых персонажей Н. В. Гоголя. Вот, например, как разговаривают два театрала после посещения спектакля – в сценке «Театральный разъезд»:

Две бекешы (одна другой). Ну, как вы? Я бы желал знать ваше мнение о комедии.

Другая бекеша (делая значительные движения губами). Да, конечно, нельзя сказать, чтобы не было того... в своем роде... Ну, конечно, кто ж против этого и стоит, чтобы опять не было и... где ж, так сказать... а впрочем... (утвердительно сжимая губами). Да, да!

Коммуникативный акт состоялся, и мы кое-что узнали о личности «второй бекешы», но нельзя сказать, чтобы это знание сопровождалось пониманием прямой речи. Впрочем, такое общение, осуществляемое как бы в обход слов, психологически не менее важно, чем содержательный обмен информацией о каких-то третьих лицах или вообще окружающем мире.

Предметом данной статьи будут некоторые особенности речевой деятельности слушающего (адресата), а именно коммуникативные акты, осуществляемые при неполном понимании или при отсутствии понимания. Иными словами, нас будет интересовать: насколько возможна коммуникация без осмысления отдельных единиц, образующих сообщение? Конечно, современная наука стремится подтвердить все гипотезы экспериментально. Это касается и процессов понимания. Но в на-

шем случае мы опираемся главным образом на материал художественной литературы. Тем самым полагаем, что роль экспериментатора берет на себя автор художественного текста, стремящийся проверить на читателе эффективность используемых им языковых средств. А лингвист в данном плане пользуется уже готовыми результатами психологического опыта.

В рассказе нашего современника, российского писателя Фазиля Искандера «Мой первый школьный день» мальчика не принимают в школу, потому что ему еще мало лет. И мальчик, сидя на веранде школы, начинает громко читать вслух.

Это был какой-то хрестоматийный учебник для второго или третьего класса с небольшими отрывками из классических рассказов и повестей. Я стал громко читать эти отрывки исключительно для того, чтобы обратить внимание учителей на беглость своего чтения. Замысел был такой. Они обращают внимание на беглость моего чтения. Они интересуются, почему я читаю здесь, на полуоткрытой веранде, а не в классе. Узнают, что я не только еще не учусь, но меня и не принимают в школу. Шумной делегацией входят к директору, и меня определяют в первый класс.

Понятно, что в данном случае совершенно не играет роли, что именно читает мальчик. Более того, он сам, скорее всего, и не понимает того, что читает. Чтение тут носит исключительно демонстрационную цель: показать, что мальчик **умеет читать** – для потенциальных слушателей этого достаточно.

Еще один известный пример: герой сатирического романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» Остап Бендер шлет миллионеру Корейко телеграммы типа: *Графиня изменившимся лицом бежит пруду; Грузите апельсины бочками – братья Карамазовы* и т.п. В принципе это совершенно правильные (в рамках жанра телеграмм) русские фразы, но они абсолютно бессмысленны в описываемой авантюрной ситуации. «Нереферентность» текста, помноженная на анонимность отправителя, должна вдвойне запугать и сбить с толку адресата – в этом и заключается «сверхзадача» телеграмм.

Как мы видим, причины подобного речевого поведения могут быть разные. Гашековский герой бравый солдат Швейк сталкивается в своих похождениях со штабным писарем, который, будучи вдребезги пьян, поддерживает только видимость диалога. Прочитируем:

Když Švejk vstoupil, Vaněk ještě jednou snažil se štábnímu šikovateli vysvětlit v číslicích, co se vydělalo na 1 kg cementového nátěru na stavby, načež štábní šikovatel odpověděl úplně z cesty: „Na zpáteční cestě zemřel, zanechal pouze dopisy.“

Иногда писарь переходит на плохой немецкий язык, но это не меняет сути коммуникативной ситуации:

Ten se udělal úplně pro sebe a blábolil, hladě čtvrtku vína, prapodivné věci beze vší souvislosti česky i německy:

„Mnohokrát prošel jsem touto vesnicí a neměl jsem ani potuchy o tom, že je na světě. In einem halben Jahre habe ich meine Staatsprüfung hinter mir und meinen Doktor gemacht. Stal se ze mne starý mrzák, děkuji vám, Lucie. Erscheinen sie in schön ausgestatteten Bänden – snad je tu někdo mezi vámi, jenž se na to pamatuje.“

В докладе на XV Международном съезде славистов мы попытались наметить целый ряд речевых ситуаций, в которых высказывание лишено собственного «утилитарного» смысла, а взамен выполняет демонстрационную, дидактическую, символическую, мнемотехническую, идентификационную или еще какую-то иную, особую функцию, см.: [Норман 2013]. На первый взгляд, подобные «внеситуационные высказывания» (термин В. Г. Адмони) кажутся некими «отходами» речевой деятельности. На деле же они, создавая основу для научного эксперимента, литературного творчества, языковой игры, служат чрезвычайно важными проявлениями человеческой природы.

Р. Якобсон совершенно справедливо отмечал: «Анализируя язык с точки зрения передаваемой им информации, мы не должны ограничивать понятие информации когнитивным (познавательным-логическим) аспектом языка. Когда человек пользуется экспрессивными элементами, чтобы выразить гнев или иронию, он, безусловно, передает информацию» [Якобсон 1975: 199]. Классификация языковых функций, предложенная Р. Якобсоном в той же работе, получила широкую известность. И, при всей ее терминологической запутанности, она чрезвычайно привлекательна тем, что соотносит функции языка с основными факторами, обуславливающими речевую коммуникацию. Это адресант, код, контакт, сообщение, контекст и адресат [там же: 198].

Нас, естественно, более всего интересует в данном ряду адресат, так как именно его сфера включает в себя и восприятие текста, и его понимание. Это, по Якобсону, сфера действия конативной (или апеллятивной) функции. Однако описать поведение адресата в конкретной речевой ситуации невозможно без учета всех остальных факторов. Если от-

влечься от наиболее «осмысленных» функций языка – коммуникативной (по-другому, у Якобсона, – референтивной, денотативной, когнитивной), конативной и метаязыковой, то остаются функции наиболее «темные» – эмотивная (экспрессивная), поэтическая и фатическая. Вот они-то и будут далее предметом нашего рассмотрения.

Эмотивная функция служит высвобождению чувств адресанта, «выражению отношения говорящего к тому, о чем он говорит». Поэтому неудивительно, что в этих условиях имеют место особые звуки речи и интонационные рисунки, задействована особая лексика (в частности, «асемантические» или стилистически окрашенные слова, диминутивы и аугментативы, междометия), особые синтаксические конструкции и т.п. Это именно та ситуация, о которой великий русский поэт М. Ю. Лермонтов писал:

*Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно!
Но им без волнения
Внимать невозможно.*

Дискурсивные условия, предполагающие такую речевую ситуацию, многообразны. Молитвы, заговоры, ворожба, проклятия, мистические откровения полны непонятных слов, «темных мест», и это не уменьшает силы их воздействия – скорее наоборот. В подтверждение приведем высказывание нобелевского лауреата Иосифа Бродского: «Оден говорил: ужасно приятно быть в церкви и слушать службу, не понимая языка. Потому что тогда не отвлекаешься от главного. Что, в общем, является чрезвычайно толковым оправданием богослужения на латыни» [Волков 1998: 295]. Напомним также, что попытки ввести в православных храмах богослужение на русском языке неоднократно наталкивались на противодействие Синода.

Правда, Р. Якобсон, говоря еще об одной – «добавочной» – роли языка, которую он называет магической, или заклинательной, видел в ней некое продолжение конативной функции. Это, по мнению ученого, как бы обращение к отсутствующему «третьему лицу» [Якобсон 1975: 200]. И, как показывают современные исследования, магическая функция имеет свои языковые признаки: повторы и т.п., см.: [Rybarczyk-Dujewska 2012]. Но важнее то, что эмоциональный заряд может забивать первичный смысл и вне сакрального контекста. Коллега Р. Якобсона по Обществу изучения поэтического языка (ОПОЯЗу) Л. П. Якубинский довольно подробно исследовал феномен «обнажения фонетической стороны слова» на материале иноязычных вкраплений в русский текст – в частно-

сти, на примере «Войны и мира» Л. Н. Толстого. По его мнению, воздействие звуков непонятной речи – «слов чужого языка или бессмысленных слов» – имеет «самостоятельную ценность, независимо от той практической цели, которую это глоссемосочетание могло бы осуществлять» [Якубинский 1986: 193]. Употребление иностранных или непонятных слов, писал ученый, оборачивается для говорящего дополнительным удовлетворением или даже «удовольствием».

В частности, героиня пьесы Людмилы Петрушевской «Анданте» постоянно употребляет в своей речи слова, непонятные ее собеседницам, и делает это с сознанием собственного превосходства. Цитата:

Юля. ...А в Андстреме сидишь, привязываются, подсаживают со своими креслами, предлагают пулы, метвицы...

Ау. Пулы такие вязаные.

Юля. Нет, пулы, метвицы, габрио. Вроде всё так невинно, а если с ними начать иметь дело, пропадешь. Нас предупреждают: никаких пулов! Осторожней, особенно с метвицами.

Ау. Метвицы какого цвета?

Юля. Они всегда прозрачные, их почти незаметно. [...]

Ау. Это наркотики?

Юля. Какой наркотики! Это не наркотики, а бескайты. Бес-кай-ты.

Ау. Бескайты, погодите-погодите...

Юля. Бескайты бывают кви, это метвицы, пулы. А бывают цветковые, это габрио и другие там.

Мы видим, что грань между иностранным вкраплением и искусственным окказионализмом может быть условной, призрачной. Зритель пьесы остается в неведении – взяты ли эти *пулы* и *метвицы* из какого-то языка или просто выдуманы автором. Да это и не принципиально, важно то, что это – приметы **иности**, проявления другого опыта, другого мира, в котором живет Юля.

Какова же реакция адресата на непонятную лексику? Некоторые современные российские авторы (В. В. Колесов, Е. И. Коряковцева, Л. В. Рацибурская и др.) видят в иноязычных вкраплениях средство психологического давления на слушающего или даже агрессии по отношению к нему. Процитируем: «Заимствования создают интеллектуальную интервенцию в сфере национальной речемысли. Происходит экспансия культуры, организованной американской ментальностью и оформленной английским языком» [Петрова, Рацибурская 2011: 109]. Трудно, кстати, не заметить в только что приведенной цитате таких средств «агрессии», как *интервенция*, *экспансия*, *ментальность*...

Конечно, можно с тревогой говорить о лавинообразном росте количества англоязычных заимствований в современных русских текстах, но думается, что причины отрицательного отношения к «чужой» лексике более глубоки и многообразны. Среди них может быть и упрощенно трактуемый патриотизм (нередко вкупе с психологическим изоляционизмом и ксенофобией), и языковой пуризм, и неспособность к изучению иностранных языков, и вообще боязнь чужого (незнамого) кода. Известно, что многоязычие (и многоречие, по терминологии Б. М. Гаспарова) было свойственно многим обществам, в том числе и российскому; ничего принципиально нового тут нет. И увеличение количества заимствованных номинаций в последние полвека есть прямое следствие процесса глобализации.

Но если говорить о лингвопсихологических аспектах функционирования «чужого» слова в «родном» дискурсе, то следует иметь в виду, что роль такого особого элемента неодинакова применительно к деятельности говорящего и слушающего, см.: [Норман 2010: 655–656].

С точки зрения говорящего, «чужое» (непонятное) слово должно бросаться в глаза, выделяться на фоне остального текста. Используя изобретенный им самим знак, адресант заведомо, сознательно нарушает конвенцию, принятую относительно языка общения или, по крайней мере, не соблюдает некоторые коммуникативные нормы. В частности, он нарушает Категорию Способа из Принципа Кооперации Грайса, которая гласит: «Избегай непонятных выражений» [Грайс 1985: 223]. Особенно очевидно это в ситуации, когда говорящий говорит то, что непонятно **никому**, кроме него самого. Создавая знак, он в каком-то смысле приравнивает себя к творцу, к Демиургу. Получается, что стратегия коммуникативного поведения говорящего находится в прямой связи с его социолингвистической характеристикой. Говорящий чувствует себя хозяином положения, способным диктовать, навязывать свои условия собеседнику, предполагать специальные коммуникативные задачи и т.п. Он имеет право **на интригу, на провокацию, на коммуникативное превосходство.**

Что же касается слушающего (адресата), то для одного человека непонятные слова оказываются проявлением деструкции и «буржуазности», для другого – своего рода паролем, свидетельством определенного образовательного ценза, для третьего – экспрессивным средством, придающим тексту дополнительное измерение, для четвертого – поводом для языкового любопытства и т.д. Хотя нельзя не признать, что употребление искусственного или иностранного слова в общем и целом занижает социолингвистическую позицию адресата.

Различная тактика говорящего и слушающего обнаруживает себя и в других конкретных ситуациях. Н. С. Трубецкой тонко заметил в свое время, что обильные иноязычные вкрапления в «Хожении за три моря» Афанасия Никитина преследовали различную цель для читателя и для самого автора. Для читателя эти непонятные выражения (из арабского, персидского, татарского языков) играли более всего «орнаментальную» роль, создавая так называемый местный (экзотический) колорит. Для самого же Афанасия Никитина иноязычные вкрапления имели «определенную смысловую сферу», они были «связаны с определенным психологическим комплексом ассоциаций»: рассказчик, по видимому, таким образом сознательно скрывал от читателя некоторые свои мысли [Трубецкой 1983: 446–449].

Но вернемся к главному для нас вопросу: является ли обязательным условием эффективности коммуникации понимание (опознание) слушающим каждого слова в тексте? Мы полагаем, что ориентация на экспрессию, опора на эмотивную функцию объединяет адресанта и адресата в коммуникативном акте, не требующем понимания. *Emotio* в таком случае побеждает *ratio*, составляя основу акта общения.

Хотя, по данным современной психологии, эмоции не столько соперничают с когнитивными процессами, сколько сопутствуют и помогают им. Протицируем английского невролога: «Преимущество, которым обладают эмоциональные события в плане перцептивной обработки, способствует не только фиксации значимых событий, но и облегчению доступа к ним для других познавательных процессов» [Долан 2012: 235]. Но тут, очевидно, всё зависит от дискурсивных условий: от степени знакомства (и душевной близости) собеседников, от уровня заинтересованности слушающего, даже от некоторого заранее установленного порога внимания. Ясно одно: для каких-то речевых ситуаций опознание исходной интенции говорящего, насыщенной положительной или отрицательной эмоцией, является для слушающего вполне достаточным результатом.

Может быть, не самый уместный в научной статье, но наглядный пример – употребление инвективных выражений, многие из которых утратили внутреннюю форму и не расшифровываются буквально, но прекрасно опознаются адресатом. Какие-нибудь русские восклицания вроде *Ечмить твою двадцать!* или *Едрить твою копоть!* в определенных дискурсивных условиях успешно выполняют свою коммуникативную функцию (опять-таки «в обход» конкретных слов).

Под **поэтической функцией** следует понимать, конечно, не использование языка в качестве материала для создания стихотвор-

ных текстов, а любое его функционирование, при котором образуется «сверхязыковой» эстетический эффект. Наверное, наиболее очевидный случай, когда эстетическая функция явно доминирует над всеми остальными, это «фонетическое» письмо. В русской поэтической традиции известно целое направление под названием «заумь», с образцами типа:

*Лулла, лолла, лала-лу,
Лиза, лолла, лулла ли.
Хвои шуят, шуят,
ти-и-и, ти-и-у-у*
(Е. Гуро. Финляндия).

Несомненно, подобные произведения имели своих читателей, своих поклонников и подражателей. А, следовательно, выполняли коммуникативную функцию. Но и в более осмысленных поэтических текстах эстетический эффект может достигаться независимо от значений отдельных слов. Приведем в качестве примера одну строфу:

*Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три черта было – ты четвертый,
Последний чудный черт в цвету*
(О. Мандельштам. За Паганини длиннопалым...).

Литературоведы-комментаторы наперебой пытаются **разъяснить** данное стихотворение, связать его с впечатлениями Мандельштама от посещения конкретного скрипичного концерта. Но нужно ли это читателю? Эстетическое удовольствие появляется у него независимо от знания биографических и иных подробностей. Иосиф Бродский в уже цитированной книге признавался: «Поэт работает с голоса, со звука. Содержание для него не так важно, как это принято думать. Для поэта между фонетикой и семантикой разницы почти нет» [Волков 1998: 75]. И вполне достоверным выглядит следующее признание другого писателя: «Я знал много стихов, читал ей, читал Пастернака, его стихи я плохо понимал, поэтому они мне нравились» (Д. Гранин. Мой лейтенант). Подчеркнем: «плохо понимал» – именно «поэтому они мне нравились»!

Понятно, что для художественного произведения недосказанность, «неопределеннозначность» (термин В. В. Мартынова), семантическая размытость представляют собой скорее достоинство, чем недостаток. Как сказал в свое время великий английский писатель и афорист Оскар Уайльд, «я живу в постоянном страхе, что меня поймут правильно».

Для исследователей же данная ситуация представляет интерес с разных точек зрения. Когнитивисты и логики анализируют «темные», непонятные, многозначные или вообще искусственные высказывания с позиций истинности или ложности их содержания. Структуралисты ищут в них способы разграничения лексических и грамматических значений. Благодаря Н. Хомскому, в языковедении стал знаменитым искусственный пример *Colorless green ideas sleep furiously*, утверждающий, по мысли ученого, независимость грамматики от лексики.

Проблема соотношения плана содержания единиц разных языковых уровней традиционно волнует и философов: «Значение предложения, в конечном счете, есть ничто иное, как его способность служить средством создания осмысленных высказываний..., а значение слова заключается в том способе, которым оно включается в значение предложений, в которых выступает. Следовательно, если мы хотим определить понятие значения предложения, то должны обратиться к понятию смысла высказывания, понятие же значения предложения в равной мере первично по отношению к понятию значения слова» [Kofátko 1998: 13; перевод наш – Б. Н.]. Выход из этого противоречия видится нам в самой природе средства общения. Синергетическая (или «эмерджентная») структура языка объясняет систематическое поглощение содержания меньших единиц содержанием больших, а накопленный носителем языка речевой опыт позволяет ему переходить к синтезу, минуя анализ. Получается, в частности, что смысл целого высказывания «перемальывает» или «растворяет» в себе значение отдельного слова, см.: [Норман 2004].

Вернемся к уже затронутой нами ситуации: к употреблению в речи слов, незнакомых слушающему или заведомо искусственно созданных. Такие «семантические лакуны» в тексте характеризуются разной степенью значимости и, соответственно, в большей или меньшей мере останавливают на себе внимание адресата. Последний же пытается реконструировать семантику отдельных лексем на основе более широкого контекста. (И понятно, что уравнение с одним «неизвестным» решается легче, чем с несколькими.) Но получается, что коммуникация в таком случае может осуществляться как бы в обход значений конкретных единиц.

Говоря по-другому, отдельные слова могут быть слушающему не совсем ясны (или совсем неясны), и, тем не менее, он приходит к смыслу высказывания, догадывается о нем. Конечно, какие-то смысловые потери при этом неизбежны, и всё же, можно сказать, коммуникация состоялась. Вот заключительная строфа из стихотворения Владимира Луговского «Курсантская венгерка»:

*Пока не качнулась манерка,
Пока не сыграли поход,
Гремит курсовая венгерка...
Идет – девятнадцатый год.*

Что значит «Пока не качнулась манерка»? Что такое манерка? Опрошенные нами студенты отвечали на этот вопрос по-разному: «маятник», «стрелка», «линейка», «музыкальный инструмент», «головной убор?», «какой-то прибор»... (вообще-то манерка – вид солдатской фляги). Но общий смысл был им вполне понятен: 'пока не началось что-то', 'пока не дан сигнал к чему-то', 'пока еще есть время' и т.п. – при общем неявном ощущении ожидания и тревоги.

Естественно встает вопрос: имеем ли мы дело с универсальными закономерностями восприятия текста, или же перед нами особенность коммуникативных процессов современной эпохи? То, что текст, в принципе, может включать в себя непонятные слова, нам хорошо известно хотя бы по произведениям так называемого малого фольклора: загадкам, потешкам, скороговоркам, считалкам, дразнилкам и т.п. В русских высказываниях типа

*Эники-беники
ели вареники...*

(детская считалка) искусственные элементы вполне на своем месте. Точно так же не вызывают у носителя языка отторжения или возмущения паремии вроде следующей калужской загадки: *Сидит дендра на пендре и кричит на кондру: «Не ходи, кондра, в пендру: в пендре рындра и мяндра»* [Мокиенко 1999: 96]. Очевидно, игровой момент здесь пересиливает требование осмысленности! В той же книге В. М. Мокиенко приводится множество примеров фразеологических оборотов, экспрессия которых «во многом обусловлена непонятностью, немотивированностью» того или иного слова, входящего в их состав [там же: 148]. И хотя, заметим, у В. Даля встречается пословица, отражающая пуристическое или даже ханжеское отношение к забавам, в том числе словесным: *Дурь да игра не доводят до добра*, использование семантически затемненных или искусственных слов, усиливающее экспрессивный эффект текста, известно многим народам, в том числе славянским.

Для сравнения приведем и чешскую считалку:

*Ententýky, dva špalíky,
čert vyletěl z elektriky.
Bez klobouku, bos,
natloukl si nos.*

Немало подобного чешского материала приводится в книге [Machová, Švehlová 2001: 36–37].

Стоило бы вспомнить здесь также о лингвистических экзерсисах вроде известного примера Л. В. Щербы *Глокая куздра штеко будланула бокра...* Но в последние годы данное явление становится распространенным художественным приемом. Оно хорошо вписывается в литературу фэнтези, но не минует и традиционные жанры – в том числе и русской литературы. В лингвистических сказках Л. Петрушевской («Пуськи бятые» и др.), иронических стихах Г. Остера («Вредные советы» и др.) развивается игровая тенденция к **остранению** текста (термин, введенный В. Шкловским), к созданию иной, виртуальной действительности. Это понятно: эпоха постмодернизма развязывает писателю руки для создания неограниченного множества окказиональных слов.

Упомянутые чешские авторы С. Махова и М. Швеглова связывают проблему «асемантических» слов с возможностью разной глубины проникновения в текст [там же: 50–51]. Вместе с тем, утверждается, что читатель, попадающий в мир «иной реальности», не утруждает себя проблемой объяснения незнакомых номинаций. Он списывает их на особенности личности говорящего, в частном случае – писателя [там же: 57]. Действительно, наш современник, то и дело сталкивающийся с непонятными словами, психологически готов их перевернуть.

Вот фрагмент из повести белорусского писателя О. Бахаревича «Сорока на виселице» (Минск, 2009; перевод отрывка на русский язык наш – Б. Н.). Девушка встречается в тексте незнакомое слово и, при всей его странности, пытается его осмыслить, «освоить», включить в контекст.

...Вероника зажмурила глаза и с ужасом поняла, что текстовки она не помнит, ни слова, она помнила только, что в конце там, в предпоследней строчке, было «за подвиг тарбами», а к чему было это «тарбами», кто его знает, это звучало как «спасибо» – мол, тарбами вам большое за подвиг, да не за что, это вам тарбами, что помните про нас! Не могло там быть никакого тарбами, но Вероника почему-то помнила именно эти слова. [...]

Она проверила, борясь с ветром: там и правда стояло «тарбами». Это успокоило Веронику, не она же писала текст, тарбами так тарбами, значит, кому-то так надо. Скорее всего, это слово имело смысл, но она ж тогда училась только на третьем курсе и каждый месяц диву давалась, сколько незнакомых слов существовало на свете до ее поступления в университет. Педолог, например, или манкурт – для Вероники эти слова значили столько же, сколь-

ко тарбами. «За подвиг педолог, за подвиг манкурт» – звучало не лучше и не хуже, чем «за подвиг тарбами». [...]

Что такое тарбами, Вероника так никогда и не узнала, и никто про это не знает. Может, об этом написано в каких-нибудь других книжках, но уж в этой точно – нет.

Героиня данного фрагмента готова списать факт непонимания конкретной лексемы за счет собственной неосведомленности, неопытности – о подобной психологической коллизии уже шла речь. Но она не сомневается в реальности словоформы *тарбами* – гарантию этому дает дискурс.

У современного российского поэта (а по совместительству и автора компьютерных учебников), Александра Левина, есть стихотворение «Орфей», начинающееся такими строками:

*Здесь чичажник и мантульник,
лопушаник и чиграк,
волчий локоть, загогульник,
самоед и буерак...*

Нагромождение непонятных слов на протяжении всего стихотворения не случайно. Для автора это как раз повод ополчиться (в комментарии) на писателей, злоупотребляющих своими природоведческими (ботаническими, зоологическими) познаниями. Прочитируем сей комментарий:

«И вот начинает этот писатель сыпать названиями – всеми этими *чичажниками* и *мантульниками*, – а названия ну ровным счетом ничего не говорят ни уму, ни сердцу читателя, не способного яшень отличить от вяза, а чистотел от болиголова. Проблема неразрешимая. Вот я и подумал, что названия для цветка, птицы, насекомого не обязательно знать. Можно его придумать – лишь бы слово было похоже на то, что видишь».

На практике встречаются многообразные случаи, когда человека больше заботит то, **как** сказать, чем то, **что** сказать. Они имеют, конечно, прецеденты в глубине веков (ср. средневековый стиль «плетения словес»). Но в современных условиях имитация осмысленной речи означает только одно: говорящий стремится сохранить, поддержать таким образом свой социальный статус и актуальную коммуникативную роль. Это можно отнести и к выступлению политика, пересыпающего свою речь мудреной терминологией, и к ответу на экзамене студента, не знающего сути вопроса, но стремящегося «произвести впечатление»... Понятно: в некоторых коммуникативных ситуациях прагмати-

ческий компонент общения (отношение между говорящим и слушающим) превалирует над собственно семантическим (отнесенность к референтам), ср.: [Kořenský 1987: 179].

Конечно, слова сами по себе могут быть и вполне понятными, но их несочетаемость или неуместность в данной ситуации могут превращать речь в бред. Так, в уже упомянутом романе «Золотой теленок» есть второстепенный персонаж – бухгалтер Берлага. Он стремится внедриться в психиатрическую лечебницу с помощью фразы «*Я вице-король Индии*» и уверен, что она ничем не хуже абракадабры, произносимой соседом по палате, пускающим слюни: «*Эн, ден, труакатр, мадмазель Журоватр*». Приём срabатывает!

А у современного российского барда Александра Дольского есть песня, название которой говорит само за себя: «Чепуха». Вот ее начало:

*Забубенные бубилы забивали лбом болванку,
А зубастые зубрилы забухтели в барабан.
И барон бубей брьдластый, богохульник, бахнул банку,
А бараны за баранкой забурились в кегельбан...*

Единственный смысл, который можно разглядеть за этими строками, сводится к сознательной инструментовке текста на сочетаниях согласных [б–р], [б–л], [б–н]... Но слушателям, тем не менее, нравится!

В последние годы в лингвистике выделились особые проблемы – **агнонимии**, т.е. приблизительного знания слова (это один из аспектов грамматики слушающего), и **таронимии**, т.е. неточного употребления слова (это аспект грамматики говорящего). Данные вопросы в равной мере занимают социолингвистов, потому что они имеют отношение к уровню языковой компетенции носителя языка, и психолингвистов, потому что проливают свет на механизмы речевой деятельности, в том числе на процессы выбора слова. Кроме того, «диффузное» функционирование слова не может не волновать всех, кто занят преподавательской или редакционной работой. Поэтому не удивителен рост количества публикаций по данной проблеме, см.: [Морковкин, Морковкина 1997; Мандрикова 2010; Химик 2011; Конюшкевич 2013 и др.]. Но носитель языка в своей практической деятельности продолжает придерживаться правила, сформулированного в афористической форме Харальдом Вайнрихом: «Прежде всего и всегда есть слово в тексте. <...> Мы не рабы слов, потому что мы хозяева текста» [Вайнрих 1987: 54].

Добавим, что затруднения в понимании, в том числе связанные с употреблением «асемантических слов», с нарушениями логичности или связности речи или несоблюдением правил грамматики, могут по-

своему компенсироваться определенными дискурсивными условиями. В частности, такими условиями являются ритмический строй текста (в поэзии или в детских нелепицах), мелодия (музыкальное сопровождение), ситуация измененного (замутненного) сознания и т.п. Не случайно так часто (и обоснованно) подвергаются критике тексты современных эстрадных песен. Сравним только несколько образцов, взятых из современной российской действительности:

Муси-пуси, муси-пуси, миленький мой,

Я горю, я вся во вкусе рядом с тобой (исполнительница Катя Лель).

И тебя я не увижу больше вновь (группа «Нэнси»).

То ли это ветерок мои губы кольшет, то ли это я кричу тебе, но ты меня не слышишь (группа «Авария»).

Но канула любовь в лета (Татьяна Буланова).

Бог тебя выдумал для двоих, видимо, разделил пополам, словно реку – берегом (дуэт «Непара»).

Конечно, это не какие-нибудь примитивные *умпа-умпа-умпа*, здесь есть намек на смысл, но развлекательно-танцевальный («попсовый») контекст обесценивает все структурно-языковые намерения и построения авторов и исполнителей. Впрочем, и тексты песен, претендующих на интеллектуальность, нередко содержат фрагменты, адресованные не столько левому полушарию, специализирующемуся на логическом анализе и языковом структурировании, сколько правому, отвечающему за целостное эмоционально-образное восприятие. Вот пример – слова из песни Виктора Цоя «Алюминиевые огурцы»:

Кнопки, скрепки, клепки,

Дырки, булки, вилки.

Здесь тракторы пройдут мои

И упадут в копилку,

Упадут туда,

Где я сажаю алюминиевые огурцы

На брезентовом поле.

Таким образом, признавая, что коммуникативный акт может происходить и в условиях неполного понимания или даже при отсутствии понимания, мы должны различать здесь разные ситуации. Самый простой и уже упомянутый нами случай – это восприятие текста на незнакомом языке. В таком тексте слушающему даже трудно выделить отдельные слова, этот текст нечленоразделен. Но бывает, что реципиент улавливает некоторую часть смысла, его поверхностную составляющую. Напри-

мер, он может понять, что перед ним – текст научный, или старинный (древний), или на инославянском языке, или, положим, на английском.

Значительно интереснее ситуация, когда говорящий и слушающий используют один и тот же языковой код, и при этом адресат, не понимая значения используемых языковых единиц, все же адекватно воспринимает интенцию говорящего – его недовольство или тревогу, симпатию или восхищение.

Остается сказать еще хотя бы кратко о **фатической функции**. Она, как известно, сводится к налаживанию контакта между собеседниками, к регулированию межличностных отношений.

Многие русские этикетные формулы утрачивают внутреннюю форму, превращаясь в стандартные приветствия, пожелания, подбадривания и т.п. Выражения типа: *Добро пожаловать!*, *Милости прошу!* (приглашения), *Приятного аппетита!* (пожелание за едой), *Ни пуха ни пера!* (пожелание успеха перед испытанием, в частности, студенту перед экзаменом), *С легким паром!* (приветствие вышедшему из ванной комнаты или сауны), *Сделайте одолжение...* (просьба), *Спасибо!* (благодарность) и т.п. прекрасно выполняют свои коммуникативные функции, хотя смысловая их структура (да и синтаксическая) остается не вполне ясной. Понятно: фатический дискурс приветствует использование готовых клише, неразложимых формул. Слова здесь тем более малозначимы, что в ситуации установления и регулирования контакта играют огромную роль паравербальные средства: мимика, жесты, дистанция между собеседниками и т.п.

Можно согласиться с тем, что «фатику нельзя в полной мере считать операциональной, лишенной когнитивной информации. С одной стороны, информативность обладает градуальным характером и о ее наличии / отсутствии можно говорить лишь в терминах «более / менее», с другой стороны, категории имеют области пересечения в силу прозрачности, нечеткости своих границ. Так, информационное наполнение фатической метакоммуникации, в определенной степени присущее приветствиям, прощаниям и т.п., особенно заметно, по данным В. В. Дементьева, в таких жанрах непрямого общения, как *small talk* и *флирт*» [Шевченко 2012: 69]. В то же время и повседневные обыденные разговоры могут сводиться, по существу, к поддержанию межличностного контакта и самоутверждению говорящего. Особенно это заметно при определенном складе личности (возраст, замкнутый круг общения и т.п.). Вот как характеризует одного из своих персонажей российский писатель А. Битов: «Отец всегда говорил не из потребности, а для разговора, причем это еще окрашивалось некоторой интеллигентностью

и проникновенностью тона, так что не могло не раздражать. Но теперь он уже часто ощущал, что отец не может иначе и что страшноватое одиночество есть в необязательных его разговорах, когда отец за неимением общения стремится сохранить хотя бы символ его» (повесть «Жизнь в ветреную погоду»).

Мы видим, что процесс восприятия и понимания текста обусловливается самой личностью слушающего, его опытом и намерениями, а также обстоятельствами коммуникативного акта. Римскому драматургу Плавту (III в. до н.э.) принадлежит следующий афоризм: «Каждый слышит лишь то, что понимает». Наши наблюдения не дают оснований согласиться с этой мыслью. Мы убеждаемся, что понимание – не обязательный компонент коммуникации. Скорее бы приведенную максимум стоило скорректировать в духе современной иронической фразы (придуманной явно мужчинами о женщинах, но по сути относящейся к человеку как таковому): «Из всего, что вы говорите женщине, она слышит только то, что хочет слышать. Даже если вы этого не говорили».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- ВАЙНРИХ, Х. (1987): *Лингвистика лжи*. In: Язык и моделирование социального взаимодействия. Москва: Прогресс, с. 44–87.
- ВОЛКОВ, С. (1998): *Диалоги с Иосифом Бродским*. Москва.
- ГРАЙС, П. (1985): *Логика и речевое общение*. In: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. Москва: Прогресс, с. 217–237.
- ДОЛАН, Р. Дж. (2012): *Эмоции, познание и поведение*. In: Горизонты когнитивной психологии. Хрестоматия. Сост. В. Ф. Спиридонов, М. В. Фаликман. Москва: Языки славянских культур; Российский государственный гуманитарный университет, с. 231–241.
- КОНЮШКЕВИЧ, М. И. (2013): *Оцифрованное слово стремится к «семантической бесконечности»*. In: Речевая коммуникация в аудиовизуальных и сетевых СМИ. Санкт-Петербург, с. 211–214.
- МАНДРИКОВА, Г. Г. (2010): *Русская лексическая система в антропоцентрическом рассмотрении (категория таронимии)*. In: Антропология языка. Вып. 1. Отв. ред. С. Р. Омельченко. Москва: Флинта-Наука, с. 81–95.
- МОКИЕНКО, В. М. (1999): *Образы русской речи: Историко-фразеологические очерки фразеологии*. Санкт-Петербург: Фолио-Пресс.
- МОРКОВКИН, В. В., МОРКОВКИНА, А. В. (1997): *Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем)*. Москва: Институт русского языка им. А. С. Пушкина, Институт русского языка им. В. В. Виноградова.
- НОРМАН, Б. (2004): *Значение слова и смысл предложения: семантический компромисс в ходе восприятия текста*. In: *Wyraz i zdanie w językach słowiańskich*. 4. Opis, konfrontacja, przekład. Pod red. I. Łuczaków i J. Sokołowskiego. Wrocław, s. 203–209.
- НОРМАН, Б. Ю. (2010): *Искусственное слово в естественном дискурсе*. In: Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского, № 4 (2), с. 653–657.

- НОРМАН, Б. Ю. (2013): *Псевдовысказывания в славянских языках как речевой феномен*. In: Мовознаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка: XV Міжнародны з'езд славістаў (Мінск, 20–27 жніўня 2013): даклады беларускай дэлегацыі / Рэдкал. А. А. Лукашанец [і інш.]. Мінск: Беларуская навука, с. 123–136.
- ПЕТРОВА, Н. Е., РАЦИБУРГСКАЯ, Л. В. (2011): *Язык современных СМИ: средства речевой агрессии*. Москва: Флинта-Наука.
- СЕРЛЬ, Дж. Р. (1986): *Что такое речевой акт?* In: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. Теория речевых актов. Москва: Прогресс, с. 151–169.
- ТРУБЕЦКОЙ, Н. С. (1983): «*Хождение за три моря*» Афанасия Никитина как литературный памятник. In: Семиотика. Сост. Ю. С. Степанов. Москва: Радуга, с. 437–461.
- ХИМИК, В. В. (2011): *Диффузное варьирование слов, значений и формантов в русской разговорно-обиходной речи*. In: Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. № 6 (2), с. 717–720.
- ШЕВЧЕНКО, И. С. (2012): *Дискурс и его категории*. In: Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / Под ред. Г. Н. Мананенко. Вып. 10. Ставрополь, с. 64–72.
- ЯКОБСОН, Р. (1975): *Лингвистика и поэтика*. In: Структурализм: «за» и «против». Под ред. Е. Я. Басина и М. Я. Поляковой. Москва: Прогресс, с. 193–230.
- ЯКУБИНСКИЙ, Л. П. (1986): *Избранные работы. Язык и его функционирование*. Москва: Наука.
- КОŘENSKÝ, J. (1987): *K procesuálnímu modelování řečové činnosti*. In: Slovo a slovesnost, 40, s. 177–189.
- КОЃАТКО, Р. (1998): *Význam a komunikace*. Praha: Filozofia.
- МАСНОВА, С., ШВЕНЛОВА, М. (2001): *Sémantika & pragmatická lingvistika*. Praha.
- РЫВАРЦЫК-ДУЖЕВСКА, Ж. (2012): *Язык как магическое средство: редуцированные языковые средства в русских заговорах*. In: Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях XXI века. Ред. D. Szumska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 335–345.

Профиль автора:

Норман Борис Юстинович

доктор филологических наук, профессор

профессор кафедры теоретического и славянского языкознания Белорусского государственного университета (Минск, Беларусь)

Сфера научных интересов: русское, славянское и общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика, лингводидактика

Беларусь

220050 Минск, ул. К. Маркса, 31

Филологический факультет Белорусского государственного университета. Каб. 52

www.kateosia.com

boris.norman@gmail.com

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ПОЛЕВА

Россия, Томск

**ФУНКЦИИ МОТИВА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ
В РАСКРЫТИИ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ТВОРЧЕСТВА В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ДАР»**

ABSTRACT:

Functions of the motive of disappearance in a revelation of an author creation conception in V. Nabokov's novel "The Gift"

The paper substantiates an important place of the motive of disappearance in the poetic context of V. Nabokov's novel "The Gift". It analyses an interconnected development of antonymous motives which organize the theme of creation (memory and oblivion, the intention to fix the reality in the word and unembodiment of an intention, etc.). The paper also contains a reconstruction of Nabokov's creation conception: it cannot compensate the loss, change the reality, or cover from actuality. The destination of creation is understood by Nabokov existentially: it consists in personal guessing of existence phenomena, and realizes in the intention to understand the reality which is out of a proper consciousness to constitute oneself and choose values.

KEY WORDS:

Literature of the Russian expatriate community – Nabokov – creation conception – the motive of disappearance – existential sense of creation.

Роман «Дар» (1933–1937), завершающий первый (немецко-французский) эмигрантский период творчества В. Набокова, вызывает устойчивый интерес критиков и филологов со времени появления в печати. Сложились набокведческие традиции изучения романа: основной массив исследований направлен на рассмотрение тем памяти, творчества, любви и связанного с ними сюжета обретения (своего «я»,

творческого дара, возлюбленной и т.д.). «“Счастливейший”, в сущности, финал, полное торжество “я” героя, даже возвращение в Россию ему гарантированно...», – пишет В. Ерофеев, одним из первых обозначивший в качестве метатемы набоковской прозы исчезновение, утрату [Ерофеев 1990: 28]. Действительно, из всего корпуса «русских» романов Набокова «Дар» завершается не исчезновением (как в «Подвиге»), не смертью центрального персонажа в результате убийства / самоубийства / казни (как в «Камере обскуре», «Защите Лужина» и «Приглашении на казнь») или крахом замысла (как в «Короле, даме, валете», «Соглядатае», «Отчаянии»), а его устремлённостью к насыщенному существованию в жизни (этим «Дар» смыкается с первым романом «Машенька»).

Однако существенно значим в «Даре» и антонимичный обретению мотив¹ исчезновения. Он проявляется на разных уровнях текста: на фабульном, во-первых, исторической ситуацией исчезновения прежней России и эмиграцией персонажей в Германию, во-вторых, событиями смерти персонажей². На сюжетном уровне мотив реализуется в переживании смертей, разлук, в забывании (исчезновении воспоминаний), ослаблении связей и пр. Жизнь человека фиксируется как цепь изменений-исчезновений, как смена окружения, отношений, мироощущения. Мотив исчезновения на метатекстовом уровне представлен рефлексией центрального персонажа, связанной с творчеством (писательством), направленным на постижение и закрепление исчезающей реальности. По верному утверждению М. Липовецкого, для Фёдора «толчком к творчеству становится либо смерть, либо синонимичная смерти невозвратимая утрата» [Липовецкий 1994: 77].

В центре романа сознание одного персонажа – Фёдора Константиновича Годунова-Чердынцева. Оно воплощено в его речи и текстах, в слове повествователя, вербализующего движение сознания персонажа, начинающего писателя, имеющего тот же исторический опыт, что и Набоков. Каждый персонаж и событие в романе преломляются сознанием

¹ Под мотивом понимается «повествовательный феномен, соотносящий в своей семантической структуре *предикативное* начало фабульного действия с его *актантами* и определенными *пространственно-временными* признаками, *инвариантный* в своей принадлежности к языку повествовательной традиции и *вариантный* в своих событийных реализациях в фабулах, *интертекстуальный* в своем функционировании и обретающий *эстетически* значимые смыслы в рамках сюжетных контекстов» [Силантьев 2002: 32].

² В повествовании упоминается более тридцати смертей (естественных, насильственных, случайных, самоубийств); концентрируется внимание на смертях трёх Чернышевских (Яши, Александра Яковлевича и Н. Г. Чернышевского), на тайне исчезновения отца Годунова-Чердынцева. Подробнее об этом [Полева 2008: 72–79].

Годунова-Чердынцева. С. Давыдов и вслед за ним Б. Бойд, В. Александров считают Фёдора «автором» «Дара», что связано с игрой «точкой зрения», с некомментируемыми переходами от первого лица к третьему: «Герой романа возводится в автора этого романа...» [Davudov 1982: 199]. Однако следует уточнить, что Годунов-Чердынцев – субъект восприятия, но не субъект всего повествования; слово повествователя даёт избыточный кругозор. Поэтому более аргументировано, на наш взгляд, мнение Б. Маслова, что «авторская компетентность» Годунова-Чердынцева, проявленная, например, в 4 главе романа, состоящей из написанного им произведения о Чернышевском, дискредитируется в финале: «...роковой просчет вновь ставит его в положение персонажа, идущего к дому в блаженном неведении о том, что он в него не сможет войти. <...> полное совпадение сознаний автора и героя делает эстетическое событие невозможным...» [Маслов 2001: 174]. Эти наблюдения важны для раскрытия заявленной темы, так как позволяют уточнить: для реконструкции набоковской концепции творчества, выраженной в романе, недостаточно следовать за рассуждениями центрального персонажа. Необходим анализ внутреннего развития персонажа в контексте сюжетной и повествовательной логики, выходящей за рамки сознания Годунова-Чердынцева, не способного (как и любой другой человек) занять позицию «внезаходимости» (М. Бахтин) по отношению к себе в настоящем, чтобы эстетически завершить свой образ.

Соглашаясь с тем, что «Дар» – роман о творческом потенциале личности, мы выделяем в нём две сюжетные ситуации, связанные с трактовкой творчества как сопротивления исчезновению (личному и исчезновению феноменов реальности):

- I) развенчание мифа о творчестве, как о способе оживить прошлое (детство), адекватно его реконструировать (жизнь отца) – 1, 2 главы;
- II) понимание творчества как *интерпретации* феноменов исчезающей реальности и *выбор ценностей* (любовь) – 3, 4, 5 главы.

В экспозиции сюжета дано сознание Фёдора Константиновича, пытающегося противопоставить эмигрантское настоящее как искусственный, мнимый мир³ прошлому в России, в частности, детству – ценностно важной действительности, которая утрачена и нуждается в реконструкции в сознании и слове. И сборник стихов Фёдора, которым он входит

³ Мысль об искусственности эмигрантской жизни рефреном проходит в романе, например, в «берлинском» стихотворении Фёдора: «Здесь всё так плоско, так непрочно, // так плохо сделана луна...» [Набоков 1990: 84].

в литературный процесс, посвящён «целиком одной теме – детству» [Набоков 1990: 10].

Годунов-Чердынцев, ставя себя, с одной стороны, в позицию рецензента своего сборника, то есть внешнего наблюдателя, а с другой стороны, обладая «всеведением» автора, способного сопоставить замысел и воплощение, рефлексирует взаимосвязи реальности и художественного текста.

Фёдорову Константиновичу было важно, во-первых, выразить в стихах то, что «было действительно» [Набоков 1990: 10], то есть реконструировать исчезнувшую реальность, во-вторых, воссоздать счастливое время жизни. Фёдор воображает слова отзыва на его стихи: «При набожном их сочинении, автор с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому *удавшемуся детству...*» [Набоков 1990: 10]. Но в процессе «рецензирования» своих стихов он бессознательно открывает онтологический закон исчезновения. В лирический сюжет «удавшегося детства» вплетаются образы времени («часовщика»), «болезней», «пугающих теней», детских страхов, ночных кошмаров [Набоков 1990: 12].

Детство, выраженное в стихах взрослым человеком, не подпадает под определение рая, в котором не должно быть линейности времени, болезней, энтропии. Кроме того, чтение стихотворений о детстве позволяет констатировать необратимое исчезновение себя прежнего: «...как я *ужасно* вырос» [Набоков 1990: 11]. Эмиграция, оторванность от пространственно-вещной среды детства выступает дополнительным фактором трагического ощущения времени: «Быть может, когда-нибудь, на заграничных подошвах <...>, я ещё выйду с той станции <...>, пешком пройду <...> до Лешина. Но одного я наверняка *не застаю* – того, из-за чего стоило городить огород изгнания: детства моего и плодов моего детства. Его плоды – вот они, – сегодня, здесь, – уже созревшие; *оно же само ушло вдаль...*» [Набоков 1990: 17]. Итогом анализа собственных стихов стало не чувство удовлетворения от реконструкции прошлого, а осознание исчезновения детства и детского мироощущения, *что творчеством не преодолевается*.

Кроме того, в рефлексии Фёдора о сборнике своих стихов открывается странная закономерность: самое интимное в них не отразилось или не было включено в сборник (о прозрении во время болезни, о бабочках, об отце [Набоков 1990: 23]). Фёдор Константинович объясняет это «экономией творчества», предчувствием замысла будущей книги об

отце, однако воплотить этот замысел не удалось. Это указывает на то, что закрепляется только пережитое, ставшее 'мёртвым'⁴. Не случайно у Годунова-Чердынцева возникает образ художника-охотника: «Он говорит, что я настоящий поэт, – значит стоило выходить на охоту» [Набоков 1990: 18]. В динамике сюжета Фёдор Константинович осознает тщетность попыток поймать реальность, ограниченность художника возможностью только «затравить слово», констатируя невозможность написать книгу об отце. Он объясняет своей матери: «Как-нибудь я тебе прочту *случайные, разрозненные, неоформившиеся обрывки* записанного мной: как оно *непохоже* на мою статную мечту! ...теперь я вижу, ... что *ничего*, кроме этих жалких заметок, и *нет*. <...> Хочешь, я тебе признаюсь: ведь я-то сам лишь искатель словесных приключений, – и прости меня, если я отказываюсь травить мою мечту там, где на **свою** охоту ходил отец» (жирным шрифтом выделен курсив Набокова – Е. П.).

В необходимости помнить и фиксировать в слове прошлое заложено желание его оживить, но Фёдор Константинович констатирует несовершенство не только текстов, но и памяти, исчезновение и омертвление прошлого в ней: «...странное, странное происходит с памятью. <...> воспоминание либо *тает*, либо приобретает *мёртвый* лоск <...>. *Этому не поможет никакая поэзия...*» [Набоков 1990: 17]; «Боже мой, я уже с трудом собираю части прошлого, *уже забываю* соотношение и связь ещё в памяти здравствующих предметов, которые вследствие этого и обрекаю на *отмирание*. Какая тогда оскорбительная *насмешка в самоуверенности*, что «так впечатление былое // во льду гармонии живёт...» [Набоков 1990: 18]. Память уподобляется кладбищу или музею, где хранятся мертвые вещи.

Фёдор Константинович различает восприятие нелюбимых вещей, пространств (относящихся к Германии, эмиграции, бездомности) и любимых (связанных с Россией, детством). Нелюбимые мертвы, потому что их собой «*не оживил*», и «этот *мёртвый* уже инвентарь *не воскреснет потом в памяти...*» [Набоков 1990: 130]; однако и любимые воспоминания умирают, мертвеют: берлинские улицы «наперед купили в его грядущем воспоминании место *рядом с Петербургом, смежную могилку*» [Набоков 1990: 49].

Сделанные наблюдения позволяют расширить представление о специфике мотива воспоминания и темы памяти у Набокова, и предложить уточнение мнению, устоявшемуся в набоковедении и наиболее

⁴ Эта мысль по другому поводу высказана в набоковедческой статье О. Бурениной [Буренина 2001: 472–473].

полно и последовательно выраженному Б. Авериним: «“Гениальность” набоковской памяти проявлялась и еще в одном отношении. Он очень хорошо помнил свою жизнь: младенчество, детство, отрочество, великое множество мелочей, связанных с разными возрастными этапами, – мелочей, которые большинство людей обычно забывают безвозвратно. Гений памяти действительно покровительствовал Набокову – неудивительно, что сюжет “тотального воспоминания” неоднократно разворачивается в его произведениях» [Аверин 1999: 158]. Не отрицая значимость сюжета воспоминания для Набокова, отметим, что писатель не выражает утопическую идею восполнения, компенсации исчезновений, утрат воспоминанием и творчеством: в логике набоковских сюжетов акцентированы несовпадение действительности и текста и разные онтологические статусы утраченной реальности и её реконструкции в памяти или творчестве. Набоков выражает близкую бахтинской версию творчества как «иного плана бытия» [Бахтин 1979: 15].

Параллельно с мотивом воспоминания в набоковской художественной прозе развивается мотив забвения или забывания / неточного или мнимого воспоминания, а тема творчества часто реализуется в мотиве невоплощения замысла. Понимание этого позволяет Набокову не сводить функцию писательства к компенсаторной.

В «Даре» открывается другая мотивация творчества: хотя стихотворчество спонтанно, рождается от случайности, от отзвука мысли, оно связано с поиском гармонии и смысла бытия: строфа «должна была разрешиться еще неизвестной, но вместе с тем в точности обещанной гармонией» [Набоков 1990: 50]. Концепт «гармония» возникает в описании не только творчества, где она достигается усилиями творца, но и природы, которой она присуща как данность [Набоков 1990: 71].

Через рефлексивность Фёдора Константиновича Набоков вводит принцип «подражания природе»: не отражать природные феномены, а учиться у природы законам гармонии, заимствовать не столько форму, сколько принцип создания гармонии (что окончательно Фёдор Константинович сформулирует после написания книги о Н. Г. Чернышевском – 5 глава). Аналогии между творцом мира и писателем значимы в «Даре». С одной стороны, многократно возникающий в романе образ режиссёра, «пупенмейстера» (нем. – *кукловода*), «управляющего игрой», соотносится то с писателем, то с метафизической, внеположенной персонажам силой, создавшей земную реальность, природный мир. С другой стороны, Набоков даёт онтологическое измерение, позволяющее видеть разные масштабы созидания таинственным, безымянным Творцом и творцом-человеком.

Потомственный биолог (его отец «занимался биологией под руководством профессора Брайта», сам он в университете «занимался ... инфузориями»), Фёдор Константинович использует продуктивное, с точки зрения Набокова, понимание смысла творчества: выбирать ориентиры, изучая тайну жизни (жизни конкретного человека – например, Яши Чернышевского, Н.Г. Чернышевского, своего отца – и жизни вообще), чутко присматриваясь к ускользающей реальности (символом которой, без сомнения, являются бабочки).

Фёдору Константиновичу присуще осознание того, что власть художника ограничивается только «порабощением слов», что он может быть только учеником, подражателем разлитого в бытии, неопределимого творца: «...глубже, дотошнее: понять *что* скрывается за всем этим, за игрой, за блеском, за <...> гримом листвы? *А что-то ведь есть, что-то есть!* И хочется благодарить, а благодарить *некого*» [Набоков 1990: 295].

Набоков снимает проблему первопричины бытия (кто создатель?); человек-творец способен постигать только законы природных метаморфоз, улавливая феномены меняющейся реальности. Поэтому рождение стихотворения ассоциируется с поимкой бабочки: «*мелькнула* лирическая возможность»; «Нет, нет, *всё улетело, я не успел удержать*» [Набоков 1990: 28]. Некоторые стихи «*не дотягивали до полного воплощения и рассеивались*, оплодотворяя тайную глубину...» [Набоков 1990: 56], то есть творческая неудача возникает, когда не осознано бытие, но пойманный знак не исчезает, а оседает внутри.

Полагаем, что Фёдору Константиновичу передано набоковское понимание творчества – личностное постижения жизни; художник – субъект, а не проводник, как считает В. Александров: «...произведения существуют в каком-то ином пространстве <...>, и всё, что остаётся на долю Фёдора, а стало быть любого мастера, – всего лишь записать их»; «...свободная воля из системы взглядов героя устранена» (это сказано по поводу и жизни, и творчества – Е.П.) [Александров 1999: 138, 152].

Фёдор Константинович занят «уловлением», поиском непреднамеренного, изнутри и извне возникающего смысла. Определяя своё состояние в момент творческого вдохновения, Фёдор думает: «Как мне трудно и как хорошо...» [Набоков 1990: 51]. Трудность связана с тем, что поэт слышит тысячи «собеседников, из которых лишь один настоящий» [Набоков 1990: 51]. Процесс творчества назван «опасн[ым] для жизни вслушивание[м]», в результате которого многоголосое бытие авторски перерабатывается, возникает свой, персональный смысл: только после того, как стихи обрели законченную форму, Фёдор Константинович «понял, что в них есть какой-то смысл, с интересом его про-

следил – и одобрил» [Набоков 1990: 52]. Творчество в осознании героя «Дара», как и самого Набокова, – не символ трансцендентного, не поиск иной реальности, не избывание страха перед исчезновением (как у Цинцинната, героя «Приглашения на казнь»), а потребность ответить на «зуд бытия»⁵, экзистенциальный акт *разгадывания* бытия, *поиска смысла* (наименования феноменов) реальности.

Важно для понимания динамики набоковской концепции художника то, что Фёдор, в отличие от Лужина («Защита Лужина»), Германа («Отчаяние»), не стремится бороться с надличностной силой, она воспринимается героем «Дара» не только как уничтожающая или подавляющая, но и как способствующая соединению с бытием (дарующая любовь, творческое вдохновение). Фёдор, биолог по образованию, принимает онтологическую основу человеческого существования, что не освобождает его от экзистенциального сопротивления тленности мира, закону исчезновения.

Искания смысла жизни и творчества (дара) Фёдора Константиновича даны в романе в сопоставлении с выбором Яши Чернышевского, предпочетшего смерть творчеству, и Кончеева, избравшего творчество как способ существования в окружающей исторической реальности, не претендуя на участие в ней. Образ Яши восстановлен Федором по воспоминаниям матери, Александры Яковлевны, и в процессе чтения его стихов и дневника; Кончеев в романе дан и как реальное лицо, и как плод воображения Фёдора Константиновича. Наличие общих характеристик у трёх представителей поколения «детей» эмиграции (возраст, причастность к поэтическому творчеству) позволяет воспринимать судьбы Яши Чернышевского и Кончеева как варианты судьбы Фёдора Константиновича.

Творчество для Яши – не способ самопознания, не реанимирование пережитого и не интенция к окружающему миру (другим), а проживание вторичной реальности: он «воспевал «горячайшую» любовь к России, – есенинскую осень, голубизну блоковских болот, снежок на торцах акмеизма и тот невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя» [Набоков 1990: 36]. Оторванность от реалий жизни, по мнению Фёдора Константиновича, – причина бесталанности Яши и его пессимизма.

⁵ Так определяет Набоков состояние другого своего персонажа – Мартына из романа «Подвиг» [Набоков 1997: 73]. В черновом варианте продолжения «Дара» Набоков использует слово «зудение» как признак земного существования, которое не избудется и в возможном загробном мире [Набоков 2001].

Кончеев художественно почти нереален (несколько цитат из его произведений, его рецензия на книгу Годунова-Чердынцева, высказывания о нём других персонажей), он появляется в воображаемых главным персонажем сценах (1, 5 главы), но он не плод сознания Годунова-Чердынцева. Встречи только в воображении – знак нереализованной возможности диалога экзистенциально близких людей, в реальности трудно соединимых. В Кончееве Фёдор Константинович видит идеального читателя и писателя, воплотившего свой дар, то есть субъекта понимания и Другого [Набоков 1990: 29].

Кончеев провоцирует Фёдора искать ориентиры литературного дара. Кончеев, в отличие от Яши, не ищет опоры во внешнем, не заискивает перед реальностью, он «абсолютно лишён каких-либо общих интересов». Отстранение от общественной жизни нужно для сохранения своей личности, независимости от оценок. Полемизируя с Кончеевым, Фёдор Константинович вначале формулирует отношение к писательству, повторяя мнение отца: «Либо я люблю писателя истово, либо выбрасываю его целиком» [Набоков 1990: 65]. А Кончеев предлагает мнение, альтернативное отцовскому, он открывает Фёдору Константиновичу умение высмотреть значимое в реальности и закрепить его в художественной форме, выражающей эстетический смысл бытия.

Разговор с Кончеевым является сюжетным мостиком к размышлениям Фёдора Константиновича об отце (2 глава). Личность отца интересует Фёдора, так как есть тайна его жизни и исчезновения, но в начальном замысле книга об отце должна была закрепить образ исчезнувшего человека: «...его поимки, наблюдения, звук голоса в учёных словах, *всё это, думается мне, я сберегу*» [Набоков 1990: 102]. Однако воображение скрытой жизни отца воплотилось лишь в отрывочных черновых записях. Постижение жизни отца подтвердило понимание того, что сохраняется только мёртвое, а музейная вечность не прельщает: «...я понял невозможность *дать произрасти* образам его странствий, не зарыв их *вторичной поэзией*, всё больше *удаляющейся* от той, которую заложил в них *живой опыт...*» [Набоков 1990: 125]. Невозможность закончить книгу об отце связана не столько с тайной его личности, сколько с тайной любого человеческого существования. Фёдор не готов «завершить» жизнь отца, то есть осмыслить её как целостный эстетический феномен, потому что для него – психологически – отец ещё жив, связь с ним ещё переживается. Остаётся разгадывать тайну отца для самостроения, для переосмысления его ценностей, бывших авторитетными литературных мнений. После разговора с Кончеевым и опыта постижения личности отца Фёдор Константинович формирует *собст-*

венную позицию: «Его (отца – Е.П.) ошибка заключалась не в том, что он свально охаял всю «поэзию модерн», а в том, что он в ней не захотел высмотреть длинный животворный луч любимого своего поэта» [Набоков 1990: 134]. Это показывает, что через творческое разгадывание личности отца состоялось самоопределение писателя, возникло понимание себя через воображаемый диалог с Другим. Несогласие не значит неуважение; формирование собственной позиции лишь означает личностную зрелость, достигнув которой Фёдор Константинович приблизился к цели реализовать свой творческий дар.

Прекращение работы над биографией отца меняет семантическое поле сюжета, обозначенное переездом («Внешним толчком к прекращению работы послужил переезд на другую квартиру» [Набоков 1990: 126]) и переориентацией с прошлого на настоящее (влюбленность в Зину Мерц). Творческий импульс, однако, связан с разгадыванием прошлого, завершённого и нужного для ориентации в современности: Фёдор Константинович обратился к жизни реальной исторической личности, активного деятеля, идеолога целого этапа духовной жизни России и писателя. Интерес к жизненному пути и мировоззрению Н. Г. Чернышевского, альтернативным отцовским⁶, связан с желанием выйти за пределы истории своего рода к истории русской культуры.

Фёдор Константинович усматривает в поступках Чернышевского отпор пошлости и антигуманизму царской власти: «Ему искренне нравилось, как Чернышевский, противник смертной казни, наповал высмеивал гнусно-благостное и подло-величественное предложение поэта Жуковского окружить смертную казнь мистической таинственностью...» [Набоков 1990: 183]. Проблема Чернышевского в том, что личностный, экзистенциальный бунт превратился в манифест для многих, и сам мыслитель взял на себя право вмешаться в ход жизни, сочинить историю. А попытка воплотить идеал обернулась личной и социальной трагедией.

Годунов-Чердынцев опровергает эстетическую систему Чернышевского, сопоставляя тексты и их воплощения. Чернышевский манифестирует: «прекрасное есть жизнь» [Набоков 1990: 213], но Фёдор Константинович доказывает незнание Чернышевским реальности (не способен отличать разные виды деревьев), ложность оценок, связанную с пренебрежением к действительности, неспособность обладать реальным (любовная драма Чернышевского). По версии Фёдора, несосто-

⁶ И. Толстой считает: «В книгах Набокова два отца: обожествленный <...> и сатирически низвергнутый <...>. Какой из них главный? Да оба» [Толстой 1997]. На наш взгляд, опыт «отцов» важен, но герой выбирает не путь одного из них, а собственную жизненную позицию в итоге интерпретации чужого опыта.

тельность Чернышевского побудила «переписывать» действительность, преодолевая жестокость реальности к нему. Историческая реальность, на которую обращено внимание «великого шестидесятника», проявляет несоответствие «прекрасному», опровергая его начальный тезис, требуя поддержки у искусства, которому было отказано в равноценности с реальностью: «Говорите же о жизни, и только о жизни <...>, а если люди не живут по-человечески, – что ж, учите их жить <...>. Искусство, таким образом, есть замена, или приговор, но отнюдь не равня жизни...» [Набоков 1990: 213]. В этом иллюзия Чернышевского, что можно вмешаться в ход жизни, изменить её в соответствии со своими планами.

Ложность воззрений Чернышевского в романе доказывается его личной и творческой неудачей: он был неспособен стать авторитетом даже для близких, при этом начал *играть роль* наставника человечества; однако личная несостоятельность *вымыслом не преодолевается*, и писатель оказался *заложником* собственного текста. Фёдор Константинович представляет две смерти Чернышевского. Первая – театрализованная казнь идейного лидера, революционера, публичная смерть, но «...увы, он был жив» [Набоков 1990: 251]; «увы», так как после этой героической казни Чернышевский стал «*тенью*», «*призраком*», прожил «двадцать пять бессмысленных лет» [Набоков 1990: 252]. Вторая, реальная, кончина Чернышевского была бытовой, свидетельствовала о забвении, о превращении живого почитания в мёртвый ритуал [Набоков 1990: 253].

Набоков не единожды обращается к анализу причин, побуждающих человека пытаться изменить реальность посредством создания художественного текста о ней. С точки зрения писателя, в основе этого лежит желание личности компенсировать свою несостоятельность. Но неразличение жизни и искусства как принципиально разных «планов бытия» (М. Бахтин) приводит к краху замыслов, обуславливает творческую неудачу (например, Чернышевского в «Даре», центрального персонажа в «Отчаянии»). Только умение «не утратить руководства игрой» и «не выйти из состояния игральщика» [Набоков 1990: 10] характеризует художника (не случайно данные определения возникают во внутренней речи Фёдора относительно опыта создания стихотворений о своём детстве, когда «приходилось делать большие усилия», чтобы соблюсти эти правила эстетической деятельности). Как точно подметил З. Пехал, в концепции Набокова творчество позволяет открыть «поливариантное состояние мира и многозначность человеческого бытия» [Pechal

1999: 200], расширить границы сознания; творчество противоположно аутизму, замыканию в себе.

Рефлексия своего творческого пути и обращение Фёдора Константиновича к изучению жизненного опыта представителей «рода» Чернышевских (Чернышевские-эмигранты ощущают себя потомками «великого шестидесятника») способствовала осмыслению принципов творчества, основное из которых – следование вдохновению, верность своему слуху, своему восприятию действительности, предполагающие свободу от штампов и клише, поиск «живого и верного». Творчество и возникает, когда появляется экзистенциальное «чувство освобождения» [Набоков 1990: 139]. Перед тем, как приступить к созданию книги о Чернышевском, Фёдор Константинович рефлексировал свой стихотворный опыт: вначале он ориентировался на великих поэтов Серебряного века, включая А. Белого, А. Блока, и «старался писать так, чтобы получилась как можно более сложная и богатая схема» [Набоков 1990: 136], но механическое следование правилам губительно для дара, поэтому «*всё гасло на гибельном словесном сквозняке, а я продолжал вращать эпитеты, налаживать рифму, не замечая разрыва, унижения, измены...*» [Набоков 1990: 137]. С первым сборником стихов была связана начальная попытка «слопать, рассыпать, забыть» «ложные навыки»; отказаться от «классификации слов», «коллекции» «страшных, гнусных, мертвых» «рифм» [Набоков 1990: 138]. Новым этапом высвобождения своего дара для Фёдора стала работа над книгой о Чернышевском.

Фёдор Константинович восстанавливает личную драму Чернышевского, прочитывая тексты писателя вне контекста идеологических наслоений, пытается за устоявшимися, мёртвыми и потому ложными стереотипами разглядеть *живого* человека: «Утверждаем, что его книга *оттянула* и собрала в себя весь жар его *личности*, – жар, которого нет в беспомощно-рассудочных её построениях, но который таился как бы промеж слов <...> и неизбежно обречён был *рассеяться* со временем...» [Набоков 1990: 252].

Фёдору Константиновичу важна фактическая точность не менее, чем верность себе в интерпретации. Опыт работы над биографией отца дал представление, что научный текст является более объективным и достоверным [Бойд 2001: 464], поэтому в книге о Чернышевском он сочетал научную точность (верность реальности) с художественным видением, когда проявляется личность автора, его индивидуальный взгляд (с верностью себе).

В воображаемом разговоре Кончеев говорит: «Настоящему писателю должно наплевать на всех читателей, кроме одного: будущего, – ко-

торый в свою очередь, лишь отражение автора во времени» [Набоков 1990: 305]. Думается, смысл высказывания Кончеева в том, что автор, как идеальный читатель, должен дать самую взыскательную критику своему творению. Точным мерилom творчества является внутреннее чувство, собственная оценка сделанному, а основным критерием – верность себе в своём произведении. Тогда есть надежда на то, что книга будет высоко оценена не всеми, но достойным читателем, конгениальным автору; есть надежда на сохранение частицы себя в тексте.

Реализация собственного дара, воплощение замысла книги о Н. Г. Чернышевском позволяет Фёдору Константиновичу преодолеть чувство «сальтеризма» (которое он испытывал раньше по отношению к Кончееву): «...еще полгода тому назад это бы возбудило в нем сальтериеву муку, а теперь он сам удивился тому, как безразлична ему чужая слава» [Набоков 1990: 186].

Книга о Чернышевском возвращает Фёдора Константиновича к постижению назначения искусства. Книга «своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего» [Набоков 1990: 184], а герой хочет преодолеть конечность текста, «составить ... жизнеописание в форме кольца» [Набоков 1990: 184]. В начале Чернышевский появляется «с особой театральной яркостью восставших из мёртвых» [Набоков 1990: 191], завершается книга рождением героя. Такая композиция связана не только с задачей разрушить стереотипы восприятия Чернышевского, но и с верой в оживляющий потенциал искусства. Искусство создаёт конечное, статичное, но является результатом творчества, становящегося, живого.

Рецензии на книгу Годунова-Чердынцева проявили, что не разрушились стереотипы восприятия Чернышевского как «человека, страданиями и трудами которого питались миллионы русских интеллигентов» [Набоков 1990: 187], что русские интеллигенты не знают ни жизни «великого шестидесятника», ни его произведений («Что нам делать» – называет роман писателя критик Линеv). Это доказывает отсутствие в истории живой духовной эстафеты между поколениями. Но появление рецензии Кончеева доказало возможность *персонального* понимания и диалога.

Историческому времени Годунов-Чердынцев предпочитает время культуры. Смерти и забвению противостоит личный духовный опыт, закреплённый в искусстве и воспринимаемый другой личностью. «Единственный способ» предотвратить необратимые исчезновения заключён в творчестве, в возможности запечатлеть дух жизни в тексте, в котором сокрыта, в первую очередь, вечность автора: «Его охватило паническое

желание не дать этому *замкнуться* так и *пропасть* в углу душевного чулана, желание *применить всё это к себе, к своей вечности, к своей правде*, помочь ему произрасти *по-новому*» [Набоков 1990: 303]. Скепсис по поводу возможности сохраниться в слове проявляется на всех этапах творческого и личностного становления героя, но Годунов-Чердынцев (как и сам Набоков) выбирает путь художника, понимая творчество как экзистенциальное сопротивление онтологическому закону исчезновения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- АВЕРИН, Б. (1999): Гений тотального воспоминания: О прозе Набокова. Звезда, № 4, с. 158–163.
- АЛЕКСАНДРОВ, В. (1999): Набоков и потусторонность: метафизика, этика, эстетика. Пер. с англ. Н. А. Анастасьева. Санкт-Петербург: Алетейя.
- БАХТИН, М. М. (1979): Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство.
- БОЙД, Б. (2001): В. Набоков. Русские годы: Биография. Пер. с англ. Москва: Независимая Газета; Санкт-Петербург: Симпозиум.
- БУРЕНИНА, О. (2001): Литература – «остров мёртвых» (Набоков и Вагинов). In: В. В. Набоков: Pro et contra. Антология. Т. 2. Санкт-Петербург: РХГИ, с. 471–484.
- ЕРОФЕЕВ, В. (1990): Русская проза В. Набокова. In: В. Набоков Собрание соч. в 4-х тт. Москва: Правда, Т. 1, с. 3–32.
- ЛИПОВЕЦКИЙ М. (1994): Эпилог русского модернизма, Вопросы литературы, № 3, с. 72–95.
- МАСЛОВ, Б. (2001): Поэт Кончеев: Опыт текстологии персонажа, Новое литературное обозрение, № 47, с. 172–186.
- НАБОКОВ, В.В. (1990): Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 3. Москва: Правда.
- НАБОКОВ, В. (2001): Второе добавление к? «Дару»... Вступительная заметка Б. Бойда (пер. с англ. Г. В. Лапиной). Публикация и комментарии А. Долинина, Звезда, № 1, с. 26–43.
- НАБОКОВ, В. (1997): Предисловие к английскому переводу романа «Подвиг». In: В. В. Набоков: Pro et contra. Антология. Т. 1. Санкт-Петербург: РХГИ, с. 70–74.
- ПОЛЕВА, Е.А. (2008): Концепт «смерть» в романе В. Набокова «Дар». In: Семантика и прагматика слова в художественном и публицистическом дискурсах: Материалы IX Всероссийского научно-практического семинара 25–26 апреля 2008 года. Томск: Изд-во ЦНТИ, с. 72–79.
- СИЛАНТЬЕВ, И. (2002): Мотив как проблема нарратологии. In: Критика и семиотика. Вып. 5. Новосибирск: Институт филологии Сибирского отделения РАН, с. 32–60.
- ТОЛСТОЙ, И. (1997): Владимир Дмитриевич, Николай Степанович, Николай Гаврилович, In: Вестник, № 18 (172). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.vestnik.com/issues/97/0819/koi/tolstoi.htm>
- DAVYDOV, S. (1982): Teksty-matreski Vladimira Nabokova. Slavistische Beiträge. München.
- PECHAL, Z. (1999): Hra v románu V. Nabokova. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Профиль автора:

Полева Елена Александровна

кандидат филологических наук, доцент

заведующий кафедрой литературы Томского государственного педагогического университета

Научные интересы: набоковедение, литература русской эмиграции, поэтика детской и подростковой литературы, современная русскоязычная литература

634041 Россия

Томск

ул. Киевская, 60

tspu-litera@yandex.ru, polevaea@sibmail.com

НАДЕЖДА БАЛАНДИНА

Украина, Полтава

АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ

ABSTRACT:

Associative experiment as an instrument of studying of linguistic consciousness

Free association experiment was used as a means of studying of the linguistic consciousness of the Ukrainian students using the example of Russian words *берёза* (*birch*) and *калина* (*snowball tree*). Objectification of consciousness is realized by means of structuring the associative values into universal, national and cultural, and person-centered; highlighting their core, the center and the periphery; determining the patterns in the associative links.

KEY WORDS:

Free association experiment – linguistic consciousness – associative meaning of the word – paradigmatic and syntagmatic relations.

Современная лингвистика, расширяя и углубляя свою методологическую парадигму, привлекает экспериментальные методики других наук, в частности психолингвистики, поскольку язык существует как разновидность психического процесса. Среди них в последнее время особенно актуальными становятся ассоциативные опросы, с помощью которых можно объективировать процессы познания действительности, ее восприятие, интерпретацию и членение, возможности ассоциативной памяти, определять уровень владения языком и т. п.

Идея использования ассоциативного эксперимента как исследовательского приема возникла, прежде всего, в связи с разработкой про-

блемы типологии лексики во внутреннем лексиконе носителей языка и попыткой количественного определения трудностей запоминания нового иноязычного слова в процессе его восприятия [Залевская 1990]. Оказалось также, что эксперимент – эффективное средство определения взаимодействия языков в процессе обучения второму языку [Сазонова 1999], с его помощью исследовались процессы словообразования в условиях билингвального обучения [Подражанская 1983], определялась роль художественно-образных ассоциаций в общем и речевом развитии ребенка [Мельник 2002], параметры внутреннего лексикона детей дошкольного возраста [Акуленко 2007], а также разные аспекты социализации школьников [Васильева 2006].

Следует указать и такие результаты экспериментальных методик, как составление различного рода ассоциативных словарей русского, украинского и других славянских языков. Известны также ассоциативные словари норм русского и украинского языков, региональные ассоциативные словари, словари «возрастные», при составлении которых в качестве респондентов привлекались студенты, учащиеся школ, дошкольники.

Указанные выше разработки, и теоретические, и лексикографические, применялись на практике, поскольку являются надежным инструментарием диагностики языковой, речевой и социокультурной компетенций носителей языка, в том числе учащихся общеобразовательных учебных заведений. Последнее представляется особенно актуальным в свете принятых в Украине новых стандартов обучения языкам, ориентирующихся на коммуникативные методики и технологии.

Целью данного исследования является анализ структуры языкового сознания и коммуникативной компетенции украинских школьников, изучающих русский язык, на примере слов *береза* и *калина*. Наряду с разработкой и апробацией методики свободного ассоциативного эксперимента, в задачи исследования входит: ранжирование реакций на ядерные, центральные и периферийные, выявление среди них универсальных, национально- и личностно-обусловленных, а также поиск закономерностей в ассоциативных взаимосвязях, в частности в условиях русско-украинского билингвизма.

Материал исследования составили анкеты с зафиксированными в них свободными ассоциативными реакциями на предложенные ключевые слова. Эксперимент проводился в 2011 г. в школах г. Миргорода Полтавской области с участием 183 учащихся 5–9 классов. На уроках русского языка респондентам была указана цель эксперимента – проверка их языковой и социокультурной компетенции – и его методика. Времени выделялось ровно столько, чтобы можно было, не раздумыв-

вая, записать на каждое слово до трех реакций. Известно, что при жестком ограничении времени, точнее, отсутствии времени на обдумывание, респонденты отвечают наиболее спонтанно, в то время как его увеличение способствует появлению необычных и даже уникальных ассоциаций.

Такие признаки, как возраст, пол, национальность на данном этапе в расчет не брались. Общее количество обработанных в настоящее время реакций составляет 911 единиц, но описание полученных результатов продолжается, в частности по указанным выше дифференциальным признакам.

Известно, что непременным условием эффективности проведения эксперимента является составление списка слов-стимулов. Его перечень детерминирован несколькими параметрами: во-первых, вхождением слов в ядро русской лексики, прежде всего по признаку частотности; во-вторых, их включением в тематически-ситуативные группы, представляющие стереотипные ситуации общения, рекомендованные учебными программами (см., например: [Баландина 2012]). В частности, для 5 класса рекомендуются учебные тексты и ситуации на тему: «Я и моя семья», «Мой дом», «Я – школьник», «После школы», «Моя малая родина», «Человек», «Природа», «Календарь». Можно предположить, что, работая с речевой темой «Я и моя семья», учащиеся непременно будут иметь дело с ключевыми словами, за которыми стоит определенная реальность: *семья, родители, отец, мама, бабушка, дедушка, муж, жена, ребенок* и т. д.; именно поэтому они могут быть выбраны в качестве слов-стимулов с целью определения их смыслов в языковом сознании учащихся, внутреннем (ментальном) лексиконе. Некоторые тематические блоки, наряду с диагностированием речевой компетенции, могут быть представлены прецедентными именами и культурно маркированной лексикой и фразеологией, например: *Бородино, Куликово поле, Киевская Русь, сарафан, самовар, баранки, береза* и др. с целью проверки социокультурной компетенции. Их перечень представляет интерес не только с точки зрения страноведения, но и близкородственного украинско-русского билингвизма, а также возможности культурологической интерференции.

В последнее время к анализу вербальных ассоциаций применялись два подхода: лексикоцентрический и текстоцентрический. При первом подходе слово воспринимается как единица лексикона, и основное внимание уделяется ассоциативному полю, его ядру, центру и периферии. В частности, Н. В. Уфимцева ранжирует стимулы по количеству полученных на них реакций. Таким образом составлены списки ядер-

ной лексики для английского языка: *me, man, good, sex, no, money, yes, nothing, work, food, water, people* и т. д. и *человек, дом, нет, хорошо, жизнь, плохо, большой, друг, деньги, дурак, много, радость* и т. д. для русского [Уфимцева 1996]. С методологической точки зрения, лексикоцентрический подход позволяет обратиться, во-первых, к наиболее информативному слою языка и одновременно наименее системному и структурированному, во-вторых, определить так называемое живое значение слова в языковом сознании его носителей и, в-третьих, продиагностировать умение лексически правильно сочетать слова.

В рамках текстоцентрического подхода ассоциативное поле рассматривается не просто как совокупность слов-реакций на определенный стимул, но и как совокупность различных текстов-реакций (или фрагментов таких текстов), которые так или иначе вступают в парадигматические отношения со словами-стимулами, являясь своеобразной перифразой (чаще развернутой) к данному слову-стимулу [Сахарный 1989: 144]. При этом ассоциации воспринимаются как стратегии построения целостных текстов, точнее, текстов-примитивов, как набор ключевых слов, за которыми стоит определенная реальность. Полученный ассоциативный материал пунктирно обозначает пережитый когда-то коммуникативный опыт респондента: что бы человек ни говорил, какие бы поступки ни совершал, он включен в контекст событий, осознанных фактов, увиденного и / или услышанного. Этот контекст обычно называют ситуацией, входом в которую может служить не только предложение, но и словосочетание или даже слово. В разнообразии таких ситуаций можно убедиться, ознакомившись ниже с реакциями на слова-стимулы *береза* и *калина*.

При этом экспериментальный материал не следует воспринимать буквально и уравнивать речевые действия респондентов эксперимента, с одной стороны, и реальных коммуникантов в процессе общения, с другой, а также отождествлять тексты-примитивы, созданные не в целях общения, а по специально поставленному заданию и не направленные непосредственно на коммуникацию, и тексты-высказывания, продуцируемые в реальных ситуациях общения [Мартинович 1993]. Особенностью речевых действий в каждом акте записи ассоциаций по сравнению с реальной коммуникацией является анонимность и, следовательно, отсутствие прямой заинтересованности респондента в последствиях и результатах этого акта.

В лексико- и текстоцентрических подходах нетрудно заметить аналогию с выделением в современном научном дискурсе двух типов связей – парадигматических и синтагматических. В основе первых лежат от-

ношения сходства между стимулом и реакцией (*береза – дерево*), другие представляют связь стимула и реакции в пределах одной синтагмы (*калина – красная*). Отдельно выделяются тематические ассоциации, которые могут использоваться в пределах тематически ограниченного контекста [Сахарный 1989: 92–99]. В. Н. Телия обращает внимание на национально-культурные, присущие носителям определенной этнолингвокультуры, и общекультурные, являющиеся универсальными для носителей разных языков, а также индивидуально-авторские, или субъективные [Телия 1996: 91].

Так или иначе, лексико- и текстоцентрический подходы позволяют достаточно объективно изучить внутренний ментальный лексикон школьников, их языковое сознание, обеспечить надежное исследование механизмов овладения словом и корректировать учебную деятельность, прежде всего по развитию речи в условиях украинско-русского билингвизма.

В качестве примера такого исследования представим результаты анализа ассоциаций на слова-стимулы *береза* и *калина*. Особенность этих слов в том, что они не формируют ядро языкового сознания носителей языка – ни русских, ни украинцев, поскольку не зафиксированы ни в одном из рассмотренных ассоциативных словарей как наиболее частотные. Их выбор обусловлен несколькими причинами. Прежде всего, они входят в один из наиболее древних слоев лексики, являются эффективным средством доступа к знаниям о естественной среде обитания человека – природы, включают в свое значение национально-культурные смыслы. Принимая во внимание общность их происхождения, можно предугадать не только сходство их значений в русском и украинском языках, но и то, что в каждом из них в процессе исторического развития семантическая структура претерпела определенные трансформации в силу различных причин. Представляет интерес и то, осознают ли украинские школьники русскую национально-культурную специфику их значений или в их понимание включены украинские культурно-исторические коннотации. Обзор программ для общеобразовательных учебных заведений настраивает на оптимистические результаты: содержание социокультурной линии предусматривает среди ряда стереотипных тем рассмотрение природно-географических факторов становления и развития личности. Авторы отдельных учебников, следуя программным предписаниям, стремятся включать учебные тексты упражнения заданной тематики. Например, в учебнике для 7-го класса в одном из параграфов предлагается работа по развитию речи в контексте речевой темы «Во поле береза стояла...», куда входят

не только художественные и публицистические тексты, но и энциклопедический комментарий, культурологическая информация, включающая прецедентные имена и выражения и т. п. [Баландина и др. 2007: 259–263].

В результате опроса 183 учащихся каждое из слов получило практически одинаковое количество реакций: 453 – на слово *береза* и 458 – на слово *калина*. У пяти респондентов реакции на слово *береза* отсутствовали, а у шести – на слово *калина*. В двух анкетах записи оказались нечитабельными.

Интерпретация выявленных фактов и закономерностей в ассоциациях учащихся осуществлялась на основе работ А. А. Потебни, А. А. Леонтьева, А. А. Залевской и др., которые сформировали методологию субъект-объектной преемственности живого познания и, соответственно, «живого» значения слова. А. А. Потебня еще в 1862 г. в своей книге «Мысль и язык» писал: «Обыкновенно мы рассматриваем слово в том виде, в каком оно является в словарях. Это все равно, как если бы мы рассматривали растение, каким оно является в гербарии, то есть не так, как оно действительно живет» [Потебня 1976: 465–466]. В связи с этим можно предположить, что словарное толкование не дает полного представления о *березе* и *калине*, а служит лишь универсальной основой для их описания. В реальной жизни толкования прорастают дополнительными смыслами, возникающими под влиянием повседневной практики, увиденного, услышанного, пережитого. Именно эти «живые» смыслы обнаруживают себя с помощью ассоциативных экспериментов различной природы.

Особенность «живых» ассоциативных значений слов *береза* и *калина* можно увидеть на фоне словарных толкований, которые, как известно, включают ключевые логико-понятийные характеристики предмета или явления. Слово *береза* словарь представляет таким образом: 1. Лиственное дерево с белой (реже тёмной) корой и пахучими сердцевидными листьями. 2. Древесина этого дерева; *калина*: 1. Кустарник сем. жимолостных, с кремовыми цветками и красными ягодами. 2. Красные горьковатые ягоды этого кустарника [Большой толковый словарь русского языка 2000].

Поскольку ассоциативные реакции детей предполагают не столько строгое научное мировосприятие, сколько обыденное, пропущенное через личностный опыт, то, соответственно, оно демонстрирует богатый смысловой спектр, включает и общенациональное логико-понятийное представление, и культурно-специфическое коннотативное, и индивидуально-авторское, ср.: ***береза*** – сок, дерево, стройная, красивая, чер-

но-белая, кора, листья, сержки, Россия, почки, роца, мебель, дрова, ветви, корни, запах, природа, весна, мое окно, консервация, стража, гнезда для птиц, птицы, одиночество, девушка, плакать и др.; **калина** – Украина, ягода, красная, куст, кислая, варенье, полезная, горькая, чай, песня, вкусная, гроздь, сердечки, косточки, сады, природа, сладкая, терпкая, маленькая, полотенце, рубашка, вышивка, оберег, пирожки, маска, дедушка, бабушка, йогурт, реклама, болезнь и др.¹ Специфика живого ассоциативного значения видна не только в неоднородном, достаточно хаотичном видении предмета (как объективном, так и субъективном), но и в своеобразном ранжировании его составляющих (ряд представлен по убывающей частотности реакций, например, сок – наиболее частотная реакция на слово *береза*, а Украина – на слово *калина*), а также в этноспецифическом восприятии *березы* как *России*, а *калины* как *Украины*. Тем не менее, такие реакции на слово *береза*, как *дерево, черно-белая, кора, листья, дрова, запах* и *калина – ягода, красная, куст* свидетельствуют о достаточной языковой компетенции, поскольку именно они отражают ключевые составляющие словарной дефиниции.

Большинство реакций следует отнести к объективным характеристикам предмета, которые включают и общенациональные универсальные составляющие, и культурно-специфичные. Примером уникальных, субъективных ассоциаций являются следующие: ***береза*** – *мое окно, консервация, стража, гнезда для птиц, птицы, одиночество, девушка, плакать*; ***калина*** – *пирожки, маска, дедушка, бабушка, йогурт, реклама, болезнь*, где явно просматривается личностный опыт респондента, внутренний лексикон которого формируется не словарем, а реальными ситуациями, образами, эмоционально-оценочными переживаниями. Сказанное особенно актуально для детей. Как отмечал А. А. Леонтьев: «Образ мира у ребенка – это не абстрактное, холодное знание о нем. Это не знания для меня: это МОИ знания. Это не МИР

¹ Поскольку формат статьи не позволяет привести здесь все ассоциации, в перечень включены лишь наиболее частотные. Некоторые из них являются обобщающими номинациями целого ряда семантически близких лексем: синонимов, антонимов, психологических симулякров, гипонимов и т. п. Например, номинация *черно-белая* представлена как общее название для реакций *черно-белая, черный и белый цвета, пятна, белый, белая, зебра*. Указанный принцип составления рядов по семантической общности может вызвать определенные сомнения. В частности, Г. С. Щур отмечал: считать отдельные слова семантически близкими лишь потому, что они являются ассоциатами друг к другу (*корова – коза*) либо у них общие ассоцианты (*корова – молоко, трава; коза – молоко, трава*), не всегда убедительно; это касается и слов, ассоциирующихся по родо-видовым отношениям. В то же время идея наличия семантической близости между членами отдельных ассоциативных рядов не является чистым вымыслом и имеет под собой определенные основания [Щур 1974: 141–142].

ВОКРУГ МЕНЯ: это мир, ЧАСТЬЮ которого я являюсь и который так или иначе пропускаю через себя и осмысливаю СЕБЯ» [Леонтьев 1993: 349].

Полученный в науке опыт проведения ассоциативных тестов показывает, что лишь немногие ассоциации являются уникальными, субъективными, большинство же – объективные, универсальные и типичные, что, собственно, и подтверждено анкетными данными. Универсальное, стереотипное представление о полученном стимуле эксплицируется в 82 % реакций школьников, индивидуальное, субъективное составляет 12 %, нулевая реакция – 0, 06 %. Однако и универсальные, и индивидуально-авторские ответы составляют структуру понятий *береза* и *калина* во внутреннем (ментальном) лексиконе школьников и отражают освоение объективной действительности сквозь призму своего «Я».

Полученное ассоциативное значение анализируемых слов можно представить также в виде полевого образования, выделив в нем ядро, центр и периферию.

К бесспорному ядру понятийного поля *береза* относится такая наиболее частотная лексема, как *сок* (121 реакция, что составляет 27 % от общего количества), в центр входят хоть и менее частные, но достаточно яркие составляющие: *дерево, стройная, красивая, черно-белая, кора, листья, сережки, Россия* (97 реакций), периферию формируют ассоциации, количество которых не превышает двух реакций (по понятным причинам здесь приведены лишь некоторые): *почки, роцца, Есенин, корни, запах, природа, весна, девушка, стража* и др. (225 реакций).

Соответственно, ядро ассоциативного поля *калина* – это *Украина* (всего 54 реакции, что составляет 12%), центр: *ягода, красная, куст, кислая, варенье, полезная, горькая, чай, песня, вкусная* (всего 137 реакций); периферия: *гроздь, сердечки, косточки, сады, природа, сладкая, терпкая, маленькая, полотенце, рубашка, вышивка, оберег* и др. (всего 267 реакций).

Между ядром ассоциативного поля *береза* – *сок* и словарным значением *береза* – *лиственное дерево*, которое условно является ядром словарного толкования, заметны выразительные разногласия: у школьников в качестве культурно-первичного выражен обыденный, прикладной взгляд на дерево, в отличие от строго научного. В то же время, украинские дети продемонстрировали свою социокультурную осведомленность на предмет *березы*: она ассоциируется у них с *Россией, Есениным*, хотя ни один толковый словарь русского языка эти культурные коннотации не отмечает. С ними можно ознакомиться, прежде всего, в художественной интерпретации русских писателей и поэтов, в различных энциклопедиях и страноведческих справочниках, где береза

предстает как практически национальное дерево России, символ России. Из справочников можно также узнать, что в стране растет около сорока видов берез. Из этого дерева традиционно строят дома, им топят печи, кору березы (бересту) используют для изготовления домашней утвари, когда-то из нее плели обувь – лапти. Известны и березовые венники, березовый сок. Береза вошла во многие народные ритуалы: например, девушка, желающая выйти замуж, украшала двери своего дома березовыми ветвями. Россияне считают, что пребывание в березовом лесу очищает душу.

В отличие от понятийной структуры слова *береза* в языковом сознании украинских школьников символическое значение слова *калина* преобладает, составляя ядро ассоциативно-семантического поля. Таким образом, калина предстает символом Украины, таким же, как береза для России. Ассоциация *калины* с Украиной настолько сильна и выразительна, что составляет 12% от всех реакций, что, собственно, не является случайностью, так как пара *калина – Украина* вполне может считаться прецедентным актом предикации, реализовавшим себя в различных высказываниях и сохранившим свои истоки в народнопоэтическом дискурсе, например, в выражении «*Без верби й калини нема України*»), частотность которого в последнее время значительно активизировалась, особенно в дидактической сфере, подтверждением чего стали ответы учащихся. Кроме того, на частотность оказал влияние и ситуативный фактор – респондентами были украинские дети, и опрос проводился в Украине.

В отличие от представления березы как символа России, в ассоциативном значении и образе калины отсутствует русская культурологическая составляющая, разве что за исключением отдельных реакций типа *калина – автомобиль* или *калина – малина*. Причем, если первая пара обозначает определенную осведомленность о калине как марке автомобиля «Лада Калина», то вторая в плане позитивной оценки компетенции представляется достаточно сомнительной: вряд ли украинским школьникам известна русская народная песня «Вот так калина, вот так малина». Скорее всего, это языковая игра в подбор рифмы: *калина – малина*. Таким образом, русская культурологическая лакуна заполнилась украинской коннотацией, не свойственной русскому слову *калина*, что подтверждает наличие культурологической интерференции. Ее примерами могут служить и такие реакции, как *вышивка, оберег, полотенце* (правильно данную безэквивалентную лексему следовало бы по-русски записать – *рушник*), *рубашка* (правильно – *вышиванка*). *Рушник, вышиванка, оберег, вышивка* являются реалиями украин-

ской культуры, однако в записях *полотенце* (вместо *рушник*) или *рубашка* (вместо *вишиванка*) наблюдается уже обратный процесс интерференции: под влиянием русского языка украинская безэквивалентная лексика «одевается в одежду» русского покроя. Говоря языком психолингвистики: в основе мировоззрения и мировосприятия каждого народа лежит своя система предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека всегда этнически обусловлено, видение мира одним народом нельзя обычным «перекодированием» перевести на язык культуры другого народа [Леонтьев 1993: 16–21].

Вместе с тем было бы несправедливо не обратить внимания на существующие культурные коннотации этого слова в русской языковой картине мира, неизвестные украинским школьникам, сформированные представлениями русских о калине как символе девственности, красоты, любви, первоначальный смысл которых сохранился в свадебных обрядах, народных песнях «Вот так калина, вот так малина», «Ой, цветет калина», «Калина красная». Увековечил также национальный образ калины писатель Василий Шукшин в своем фильме «Калина красная».

Представленный выше анализ свидетельствует о достаточно широком и глубоком понимании украинскими учащимися значений слов *береза* и *калина* по сравнению со словарными. Так называемое живое значение включает три составляющие: универсальную общеязыковую, свойственную и украинскому, и русскому мировосприятию, специфическую национально-культурную, характерную лишь для одного языка, и индивидуально-авторскую (субъективную), обусловленную личностным восприятием действительности. Данный факт важен не только сам по себе, но прежде всего в практике преподавания языков, нацеленной на формирование коммуникативной компетенции, которая отрицает узко лингвистический подход к слову и включает в содержание обучения наряду с языковой компетенцией знания энциклопедические, социокультурные, страноведческие, личностно ориентированные. Особенно остро в этом плане стоит проблема несоответствия языковых значений, выявления специфического, своеобразного, пренебрежение к чему приводит к коммуникативным неудачам в межкультурной коммуникации, в том числе при изучении близкородственных языков.

Кроме универсальных, национально-обусловленных и индивидуальных ассоциаций, выделения ядра, центра и периферии ассоциативно-семантического поля, их можно структурировать на предмет экспликации знаний об окружающем мире, соотнося семантическую структуру слова-понятия со структурой окружающей действительности [Караулов

2002]. Наиболее крупный сектор поля *береза* формируют ассоциации, выражающие отношение двух предметов – главного и производного от него: **береза** – *сок, дрова, мебель* (всего 123 реакции). Следующий сектор поля составляют менее частотные родо-видовые отношения: **береза** – *дерево* (50 реакций); признак предмета: *черный и белый (цвета), черно-белая, белый, пятна, зебра, белая (кора), высокая, стройная, стройность, тонкая, худая, большая, живая, запах* (26 реакций); отношения целого и части: *кора, листья, серьги, почки, ветки, корни* (20); оценка предмета по внешнему виду: *красивая, красота, красавица* (12); отношение культурной идентификации: *Россия, Есенин, девушка, стража* (7); пространственные отношения: *мое окно, березовая роща* (2); ситуативно-тематические отношения: *природа, гнезда для птиц, консервация* (2); отношения темпоральности: *весна* (1); отношения психологического состояния: *плакать* (1).

Наиболее частотной реакцией в семантическом поле *калина* является отношение культурной идентификации: *Украина, символ Украины, символ, песня, украинец, полотенце, рубашка, вышивка, оберег, автомобиль, малина* (65 реакций), менее частотными – отношения оценки: а) по вкусу: *горькая, кислая, кислота, кислотность, сладкая, терпкая*; б) по внешнему виду: *красная, маленькая, зеленая*; в) по практическому применению: *полезная, лечебная, лечение, лекарство, витамины, здоровье* (59); целого и части: *ягода, гроздь, сердечки, косточки* (40); родо-видовые отношения: *куст, дерево* (20); производного предмета: *варенье, джем, пирожки, маска, чай* (16); ситуативно-тематические отношения: *дедушка, бабушка, болезнь, птицы, снежиры, природа* (12); оценка предмета по внешнему виду и вкусу: *красивая, кислятина, вкусная* (5); пространственные отношения: *сады* (1).

Восприятие березы и калины постоянно колеблется между логико-понятийным и оценочно-эмоциональным полями, хотя большинство составляют реакции логико-понятийной природы. Как известно, процесс оценки считается субъективным: любая оценка – положительная или отрицательная – дается определенным субъектом и зависит от его свободного выбора, взглядов и вкусов, получал ли он при контакте с объектом удовольствие или отвращение, ощущал симпатию или антипатию. Меньшее количество оценочных ассоциаций, возможно, вызвано и тем, что оценка, как наиболее яркий способ выражения прагматического значения, всегда ориентирована на реципиента. Процедура ассоциативного эксперимента, хоть и является разновидностью коммуникации, предполагает условного адресата – аналитика эксперимента, на реакцию которого респондент особо не рассчитывает. Та-

ким образом, подтверждается утверждение Ш. Балли о том, что человеческая мысль постоянно колеблется между логическим восприятием и эмоцией и состоит одновременно и из логической идеи, и чувства. В разных ситуациях они составляют различные пропорции; в одних случаях преобладает что-то одно: или логическое восприятие, или чувство [Балли 1955: 182].

Представленные учащимися эмоционально-оценочные реакции достаточно неоднородны: если береза видится исключительно позитивно, прежде всего эстетически: *береза – красивая, красота, красавица*, то *калина* оценивается амбивалентно: по внешнему виду – *красивая*, а по вкусу – *кислятина* и *вкусная*, что является результатом свободного выбора из ряда предложенных альтернатив.

В частеречном выражении преобладают существительные: *береза* – 416 реакций, *калина* – 398 реакций, дальше в убывающем порядке следуют прилагательные: *береза* – 36, *калина* – 60, местоимения: *береза* – 1, глаголы: *береза* – 1. Определенную монотонность ассоциаций предметного характера можно объяснить тем, что практическое отсутствие глаголов вызвано ограниченными процессуальными признаками, свойственными этим представителям растительного мира; числительные как реакции, например, *два, три, пятый, тысячный* и т. д., обозначающие количество или порядок при счете, в ситуации эксперимента воспринимались бы не совсем адекватно; наречия же, по мнению ученых, в ассоциативных реакциях встречаются достаточно редко.

Таким образом, ассоциации можно считать естественным членением действительности и предположить, что оно сказывается и на внутреннем лексиконе носителя языка. Представления и понятия в сознании учащихся взаимосвязаны на основе приобретенного опыта и с большей или меньшей степенью объективности воспроизводят явления объективного мира.

Для систематизации отношений между словом-акцией и словом-реакцией, с одной стороны, и словами-реакциями, с другой, можно использовать известное основание – по сходству и по смежности, или, говоря иначе, выделяя среди них парадигмы и синтагмы. Синтагматические отношения представляют нормативную сочетаемость слов-понятий, например: ***береза*** – *черно-белая, стройная, тонкая, большая, красивая*; ***калина*** – *красная, горькая, кислая, сладкая, терпкая, маленькая, зеленая, красивая, вкусная, полезная*. Парадигматические отношения считаются более сложными, да и принцип их семантического сходства иногда вызывает сомнения. Несмотря на определенную неоднозначность, к парадигматическим отношениям можно отнести сле-

дующие группы: **береза** – *дерево* (родо-видовые отношения), *береза* – *кора, листья, сережки, почки, ветки, корни* (отношение включения), *береза* – *Россия, Есенин, стража, зебра* (отождествление), *береза* – *красота* (оценочные отношения), *береза* – *весна, природа, запах, птицы* (тематические отношения); **калина** – *куст* (родо-видовые отношения), *калина* – *ягода, гроздь, сердечки, косточки* (отношение включения), *калина* – *Украина, песня, оберег, автомобиль* (отождествление), *калина* – *сад, птицы, снежиры* (тематические отношения).

Очевидно, что эти отношения являются отражением в языковом сознании сложных дифференцирующих и интегрирующих процессов, которые образуют различные конфигурации внутреннего лексикона. При необходимости его единицы в реальной коммуникации активизируются: происходит выбор нужного слова (словоформы) из парадигмы, а затем их сочетание по законам определенного языка. Знание языка – это не что иное, как знание отношений его единиц – парадигматических и синтагматических, что в целом соотносится с мыслью В. В. Морковкина о том, что жизнь слова происходит на пересечении двух планов – парадигматического и синтагматического [Морковкин 1970: 35], поэтому именно этим отношениям при формировании языковой компетенции следует уделять должное внимание, учитывая в том числе результаты ассоциативного эксперимента, где парадигматические отношения количественно превышают отношения синтагматические.

Роль синтагматических отношений в языковом сознании также трудно переоценить: они способствуют построению высказывания, доводя этот процесс до автоматизма, и максимально близки акту предикации. Актуализируясь в речи как акт предикации, ассоциативная пара *береза* – *стройная* может стать высказыванием *Береза стройная*, а *калина* – *чай* – *Пью чай из калины*. При этом было бы несправедливо преуменьшать роль парадигматических связей. Интересную экспериментальную работу по исследованию ассоциативных процессов и порождения высказывания провела И. Г. Овчинникова, а полученные ею результаты однозначно доказали связь ассоциативных процессов и структурирования высказывания: основным фактором, влияющим на структурно-семантические особенности предложения, является тип ассоциации [Овчинникова 1994]. Собственно, это подтверждают и приведенные выше примеры.

Интересно и то, что синтагматические и парадигматические отношения и ассоциативное поле в целом демонстрируют «готовность» стать не только высказыванием, но и текстом. Собственно, ассоциации можно считать ключевыми словами потенциальных текстов с заглавием,

равным слову-стимулу. Textoобразующую потенцию ассоциаций использовали лингводидакты, специально создавая на их основе тексты-примитивы, или микротексты [Хирёва 2004], как прием типологии лексики, ее семантизации, как эффективное средство сопоставления языкового сознания представителей разных лингвокультур. Построение микротекстов на основе ассоциаций является действенным приемом для развития связной речи и расширения и углубления различного вида компетенций.

Проведенный ассоциативный эксперимент показал, что украинские учащиеся обладают достаточными объективными познаниями о заявленных предметах, понятийными и культурологическими. Анализ ассоциаций можно рассматривать как модель языкового сознания, которая включает универсальную, национально-культурную и личностно-ориентированную составляющие.

Трудно переоценить и его практическое значение: по результатам эксперимента можно изучать ассоциативное (живое) значение слова, организацию внутреннего лексикона носителя языка, особенность ассоциативных процессов в условиях билингвизма, а также искать пути применения в методике преподавания языков. Особый интерес в этом плане может представлять современная коммуникативная среда, сформированная во многом средствами массовой коммуникации: телевидением, радио, рекламой, поп-культурой и т. п., которые, как никогда, влияют на систему ассоциаций школьников, манипулируют их сознанием, ослабляют критическое мышление и способность противостоять навязываемым стереотипам.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- АКУЛЕНКО, А. А. (2007): *Параметри внутрішнього лексикону дитини шкільного віку*. Автореф. дис. ... канд. філол. наук. Київ.
- БАЛАНДИНА, Н. Ф., ДЕГТЯРЕВА, К. В., ЛЕБЕДЕНКО, С. А. (2007): *Русский язык: 7 кл.: Учеб. для общеобразов. учебн. заведений с укр. яз. обучения*. Киев.
- БАЛАНДИНА, Н. Ф., СИНИЦА, И. А., ФРОЛОВА, Т. Я. (2012): *Русский язык: Программа для 5–9 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения*. Киев.
- БАЛЛИ, Ш. (1955): *Французская стилистика*. Москва.
- Большой толковый словарь русского языка* [Авт.-сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов] (2000). Санкт-Петербург.
- ВАСИЛЬЕВА, Н. Л. (2006): *Детский психоанализ*. Санкт-Петербург.
- ЗАЛЕВСКАЯ, А. А. (1990): *Слово в лексиконе человека: психолингвистические исследования*. Воронеж.
- КАРАУЛОВ, Ю. Н. (2002): *Национальные образы сознания в ассоциативной структуре слова*. Пермь.

- ЛЕОНТЬЕВ, А. А. (1993): *Языковое сознание и образ мира*. In: *Язык и сознание: парадоксальная рациональность*. Москва: ИЯ РАН, с. 16–21.
- МАРТИНОВИЧ, Г. А. (1993): *Опыт комплексного исследования данных ассоциативного эксперимента*. In: *Вопросы психологии*, № 2, с. 93–99.
- МЕЛЬНИК, Н. (2002): *Роль художественно-образных ассоциаций в общем речевом развитии ребенка*. In: *Слово. Стиль. Норма*. Киев: Наука, с. 81–86.
- МОРКОВКИН, В. В. (1970): *Идеографические словари*. Москва.
- ОВЧИННИКОВА, И. Г. (1994): *Ассоциации и высказывание: Структура и семантика. Учебное пособие по спецкурсу*. Пермь.
- ПОДРАЖАНСКАЯ, Н. Т. (1983): *Опыт анализа словообразовательных реакций*. In: *Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики*. Калинин, с. 124–133.
- ПОТЕБНЯ, А. А. (1976): *Эстетика и поэтика*. Москва.
- САЗОНОВА, Т. Ю. (1999): *Фактор частотности в моделях распознавания слова*. In: *Психолингвистические исследования: слово, текст*. Тверь, с. 37–43.
- САХАРНЫЙ, Л. В. (1989): *Введение в психолингвистику: Курс лекций*. Ленинград.
- ТЕЛИЯ, В. Н. (1996): *Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты*. Москва.
- УФИМЦЕВА, Н. В. (1996): *Этнический характер, образ себя и языковое сознание русских*. In: *Языковое сознание: формирование и функционирование*. Москва: Ин-т языкозн-я РАН, с. 135–170.
- ХИРЁВА, Л. Н. (2004): *Использование лексических смысловых ассоциаций в практике преподавания русского языка как иностранного французским и американским учащимся*. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Москва.
- ЩУР, Г. С. (1974): *Теория поля в лингвистике*. Москва.

Профиль автора:

Баландина Надежда Францевна

доктор филологических наук

профессор кафедры общего и славянского языкознания и иностранных языков Полтавского национального педагогического университета им. В. Г. Короленка.

Область научных интересов: структурно-семантический синтаксис, коммуникативная лингвистика, лингвопрагматика, лингводидактика

36000, Украина

Полтава, ул. Остроградского, 2

Кафедра общего и славянского языкознания и иностранных языков Полтавского национального педагогического университета им. В. Г. Короленко

<http://npu.edu.ua>

e-mail: nadiyabalandina@gmail.com

ТАТЬЯНА АРХАНГЕЛЬСКАЯ*Чехия, Оломоуц***ДИССИММЕТРИЯ КАТЕГОРИЙ РОДА И
ПОЛА В СИСТЕМЕ СЛАВЯНСКИХ ЛИЧНЫХ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ****ABSTRACT:****Dissymmetry of the categories of gender and sex in the system of Slavic personal nouns**

The paper deals with the formal disagreement between categories of gender and sex in personal noun systems of Russian, Ukrainian, Polish and Czech languages. The question of syntactic agreement as well as the problem of marking of nouns undifferentiated on the basis of gender and sex as being masculine or feminine are studied here.

KEY WORDS:

Dissymmetry, formal disagreement – categories of gender and sex – masculine nouns – feminatives.

Проблема симметрии-асимметрии в языке на всех уровнях его организации является объектом внимания многих ученых-языковедов. Рассматривая факты симметрии/асимметрии в языке как проявление изоморфизма формы и содержания языковой единицы (Е. Курилович, С. Карцевский)¹ и как факты отступления от упорядоченности, регулярности, единообразия в строении и функционировании языковых единиц, отражающее одну из особенностей строения и функционирования

¹ «Форма и содержание в языке обычно находятся как бы в уравновешенном, устойчивом, но чаще всего не в симметричном отношении, поскольку их функции и роль различны» [Плотников 1989].

естественного языка², ученые описывают симметрию/асимметрию на уровне лексической семантики (А. Л. Лось, С. А. Москвичева), морфологии (грамматическая, семантико-грамматическая, функционально-семантическая симметрия/асимметрия в языке и речи) (Л. С. Бархударов Е. А. Воронцова, Т. Ю. Мороз, S. Štejrková), на уровне функционирования синтаксических единиц (синтаксическая асимметрия) (Л. В. Ляпина, Л. М. Минкин, Т. А. Колосова), на уровне лингвистики текста (В. А. Пищальникова, И. Н. Пономаренко, Г. Г. Москальчук). Теорию симметрии/асимметрии в последнее время активно применяют (в частности, и в сопоставительных исследованиях) в лингвокультурологии (А. С. Бухонкина), в концептологии (Л. Г. Зубкова, Л. В. Газизулина, М. И. Солнышкина, Е. А. Филиппов), транслятологии (О. В. Врублевская, Е. С. Харина). Категории симметрии/асимметрии используются при изучении межъязыковых контактов и изучении проблем функционирования языков (Л. К. Байрамова).

Система наименований лица мужского и женского пола обладает выразительной спецификой. На этот факт обращают внимание многие исследователи, изучавшие с различных позиций систему личных существительных в разных языках [Савельева 2011]. Сложное взаимодействие нелингвальных и лингвальных факторов, о которых упоминалось выше, привело к тому, что в этой системе номинативных единиц имеют место сложные и причудливые формы соотношения между формой и значением в выражении семантики грамматической категории рода, которую О. Есперсен в свое время назвал «самой непредсказуемой из всех категорий языка» [Есперсен 1958: 391], и семантической категории пола.

В ходе исторического и культурного развития человечества сформировалось своеобразное единство двух противоположностей – мужского и женского, неравнозначное как онтологически, так и семантически. Сложное взаимодействие мужского и женского как концептов нетождественных, отразилось и в языке в факте доминирования мужского над женским в системе именных классификаций, оказавшем влияние на дальнейшие проявления андроцентризма в языках постпатриархального типа.

² О внимании к этому аспекту изучения симметрии/асимметрии свидетельствуют как тематические сборники научных трудов, так и материалы многочисленных научных конференций: Формально-содержательная асимметрия единиц языка (1982); Вопросы формально-содержательной асимметрии единиц языка различных уровней (1982); Асимметрические связи в языке (1987); Асимметрические связи в языке (1992).

Вопросам асимметрий в проявлениях социокультурного пола (гендера) (т.н. гендерная, или андроцентричная асимметрия) посвящены многочисленные работы в сфере гендерной лингвистики и лингвистической гендерологии (А. В. Кирилина, В. И. Коваль, М. С. Колесникова, В. А. Никольская, Г. П. Нецименко), однако в них чаще представлена критика такого рода асимметрий как дискриминативных в отношении женщины структур, чем глубокий анализ соотношения рода и пола в вербальном его выражении (Т. Е. Ерофеева, С. А. Зыкова, Я. Пузиренко, О. О. Чистяк, М. Karwatovska, J. Szpyra-Kozłowska, J. Valdová)³. В то же время и в идеологически незаангажированных исследованиях этой проблеме уделяется недостаточное внимание. «Асимметрию проявлений соотношения семантики и грамматики в системе морфологической категории рода необходимо исследовать и в связи с половой дифференциацией» – пишет А. Загнитко в качестве замечания в рецензии на монографию Т. Ю. Мороз [Загнітко 2009: 337–340]. Очевидно, что вопрос об изучении симметрий/асимметрий рода и пола в ономаσιологическом, семантико-грамматическом и функционально-семантическом плане остается актуальным и сегодня.

Если понимать под *симметрией* категорию, обозначающую процесс существования и становления тождественных моментов в определенных условиях и в определенных отношениях между различными и противоположными состояниями явлений мира [Готт 1972: 375–376], а под симметричными отношениями – тип поляризованных оппозиций, элементы которых рассматриваются на одном уровне, как характеризующиеся каждый своим набором отличительных признаков (эквиполентная оппозиция), то, применительно к языковым фактам, ставшим предметом нашего анализа, есть основания утверждать, что симметрия в системе родо-половых наименований будет скорее исключением, чем правилом. Мужское и женское как концепты и как категории познания, отраженные в языке, нетождественны по сути: женщина – понятие исконности, мужчина – понятие прототипичности. Ж. Бодрийяр замечает: «Можно высказать гипотезу, что женское вообще единственный пол, а мужское существует лишь благодаря сверхчеловеческому усилию в попытке оторваться от него. Стоит мужчине зазеваться – и он вновь отброшен к женскому» [Бордийяр 2000].

Так же, как окружающий нас мир не вписывается в антонимическую модель «черное-белое», многообразный языковой материал, представ-

³ Ср. постановку вопроса об андроцентричной асимметрии и социальной ранжированности гендерных категорий, когда один из классов представлен как неавтономный или менее автономный. В языке это проявляется, в частности, в маркированности женского рода по отношению к мужскому.

ляющий собой языковую презентацию соотношения грамматической категории рода и семантической категории пола в системе наименований лица, не вписывается в два крайних полюса дихотомии «симметрия-асимметрия». Отношения симметрии/асимметрии формы и содержания в системе наименований лица по признаку пола могут и должны анализироваться по четырехкомпонентной шкале: *симметрия*, *диссимметрия*, *антисимметрия*, *асимметрия* [см. подробнее Архангельская 2013а].

В концепции нашего исследования под *симметрией* понимается тождество формы и значения личных существительных, различающихся лишь семантико-грамматическими маркерами маскулинности и фемининности. Под *антисимметрией* – факты родо-половой транспозиции, переноса семантики и формальных маркеров маскулинного на фемининное и наоборот. Под *асимметрией* – факты наличия формально парных существительных мужского и женского рода, отличающихся на уровне семантики маркера фемининности и маскулинности, компонентов денотативного и (или) прагматического значения, а также женского (отфемининниого) мовирования.

Объектом анализа в данной статье станут дисимметричные отношения грамматического рода и биологического пола в системе наименований лица на уровне их формы. Под *диссимметрией* в плане соотношения категорий рода (*genus*) и пола (*sexus*) в системе личных существительных понимаем «совмещение означаемых» (Ш. Балли) в пределах одного означающего, – единой формы, являющейся совокупным узуальным обозначением как человека вообще (по профессии, роду деятельности, социальному статусу, характерному признаку), так и мужчины и женщины в частности.

Первую группу дисимметричных номинантов составляют **наименования**, недифференцированные по признаку рода и пола, **формально маркированные мужским грамматическим родом**, недифференцированные по признаку рода и пола обозначаемого референта, которые в изучаемых языках в силу определенных ограничений языкового и неязыкового характера не имеют парных женских соответствий: рус. *доцент*, *философ*, укр. *філолог*, *ангел*, польск. *dziekan*, *tecenas*, чешск. *host*, *mazlíček*. Возможность употребления мужского рода в генерализирующем значении определяется включенностью лиц мужского и женского пола в семантический объем мужского наименования. В маскулинном наименовании единственного числа на уровне глубокой семантической структуры потенциально присутствует сема совокупности (человек вообще + мужчина в частности), однако наличие лиц мужского и женского пола практически всегда подразумевается (*учитель* = *учитель* + *учительница*, ср. В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день **учителя** (*World Teachers' Day*), отмечаемый ежегодно 5 октября (Mignews.com.ua)), в формах множественного числа наблюдается переориентация на семанти-

ку нерасчлененного множества (*Российские педагоги и их коллеги из других стран в субботу отмечают Международный день учителя (РИАновости, 13.09.2014)*). Такие единицы реализуют в контексте сему обобщенного лица, называют, таким образом, не конкретное, а обобщенное лицо с одновременной номинацией по профессии, роду деятельности, социальному статусу, характерному признаку. Кроме того, наименования типа рус. *инженер, историк*, укр. *ветеринар, стоматолог*, польск. *ginekolog, glazurnik*, чеш. *kovář, horník* во всех изучаемых языках служат обозначением и самой профессии (рус. *Вакансия: менеджер по туризму или помощник менеджера по туризму. Требования: законченное высшее образование с отличием (по специальности туризм, искусствовед, филолог, историк, журналист, психолог, страновед)* (JOB.ukr.net), укр. *Юридчна компанія «Захист власності» оголошує конкурс на посаду молодшого юриста* (Rabota.ua), польск. *Prywatny gabinet stomatologiczny w Katowicach na Osiedlu Tysiąclecia zatrudni lekarza stomatologa oraz periodontologa z doświadczeniem i umiejętnościami obsługi pacjenta* (Nowygabinet.pl), чеш. *Pracovní nabídka spol. Honeywell, spol. s r.o.: Vývojovou konstruktér mechatronických zařízení 00244099 (Dobrá práce. cz)*). В этой связи некоторые ученые предлагают различать сильные и слабые позиции⁴ генерализации значения наименования мужского рода [Архангельская 2011: 46–47].

Заметим, что для чешского языка как языка с регулярным мовированием наличие таких наименований является скорее исключением из правила, нежели правилом. В русском, польском и украинском языках, где феминизация языковой системы четко регулировалась узусом, роль «женской пары» маскулинности исполняли иные нормативные средства языковой идентификации женщины (маскулинизмы в генерализирующей функции, аппозитивные синтагмы, согласовательные конструкции (рус. *доцент Павлова, пожилая бухгалтер*, укр. *жінка-астронавт, професор Ковальчук виголосила доповідь*, пол. *nowa administrator, Ewa Przybylska została nowym prezesem stowarzyszenia*)).

В русской лингвистической традиции существует несколько точек зрения касательно родовой отнесенности наименований типа *врач, инженер, профессор*. Классическое мнение о принадлежности таких существительных к мужскому грамматическому роду высказывают В. В. Виноградов, Л. К. Граудина, В. М. Никитевич, Д. Э. Розенталь, А. А. Шахматов и др. [Виноградов 2001: 59–67; Граудина, Ицкович, Катлинская 1976: 97; Никитевич 1963: 37; Розенталь 1989: 183–184; Шахматов 2001: 449]. Л. И. Коновалова, А. Б. Копелиович и М. В. Панов, в свою очередь, квалифицируют такие наименования как

⁴ Под сильной позицией понимается функция максимального различения, в которой мужское родовое наименование актуализирует и эксплицирует сему «мужской пол» как наиболее значимую, под слабой – позицию деактуализации семы пола и ее нейтрализацию как несущественной в данном конкретном словоупотреблении.

существительные общего рода⁵ [Коновалова 1997: 72–79; Копелиович 1977: 178–192]. Существует и мнение о том, что лексические единицы, формально недифференцированные по признаку рода и пола, пребывают в состоянии перехода из мужского рода в общий⁶ [Милославский 1981: 52–53; Ласкова 2001; Литневская 2000: 221–222]. Украинские традиционные грамматики тоже не дают однозначного ответа на вопрос о родовой отнесенности исконных маскулинизмов типа *лікар, професор, архітектор*. Авторы одних грамматик относят такие наименования к существительным общего рода⁷, других – к мужскому грамматическому роду⁸.

Польские исследователи на этот счет более категоричны, – они относят все наименования лица, недифференцированные по форме мужского и женского грамматического рода, к двухродовым (общеродовым) лексемам [Komunikaty Rady języka polskiego 2002: 72–73]. В чешском языке в связи с регулярным мовированием количество недифференцированных по полу лексем очень малó. Это наименования типа *host, národopisec, lakomec, lenoch, sirotek, mazlíček, potomek* и др. «Грамматически это существительные мужского или женского рода, которые могут обозначать без изменения рода и формы лицо мужского и женского пола (ср. *Ten chlapec je úplný sirotek, Ta dívka je úplný sirotek, Dcera je náš jedináček, Petra je strašný lakomec, Náš fňukal* /речь может идти и о мальчике, и о девочке/ *řval celý večer, Ten ospalec* /речь может идти и о мальчике, и о девочке/ *prospal celý den*)» [Бранднер 2003: 13–24, 19–20].

⁵ «Нам кажется более убедительной трактовка существительных типа *врач* как существительных общего рода. Во-первых, эти формы в современном языке обозначают профессию без указания на пол. Во-вторых, широкое употребление подобных наименований (гораздо шире, чем во времена В. В. Виноградова) привело к «согласованию по смыслу» глагола-сказуемого в форме прошедшего времени с подлежащим: *на суде прокурор без труда восстановила обстоятельства дела* и др. Уже не вызывает возражений и согласование в им.п. прилагательного и местоимения с существительным: *у нас очень добрая директор; посылку... доставила в редакцию пожилая врач* и др.» [Коновалова 1997: 72–79]; «Форма муж. р., наряду со своей способностью обозначать лицо мужского пола, приобрела способность обозначать лицо в отвлечении от пола, т.е. выступать в функции общего рода» [Панов 1968: 21].

⁶ «Есть в русском языке существительные, обозначающие название лица по профессии, которые при обозначении лица мужского пола выступают как слова мужского рода, т. е. присоединяют согласованные слова с окончаниями мужского рода; когда же они обозначают лицо женского пола, определение употребляется в мужском роде. Эти слова – «кандидаты» в общий род, их род иногда называют переходным к общему» [Литневская 2000: 221–222].

⁷ «Наименования общего рода, внешняя форма которых не содержит указания на пол обозначаемого лица, грамматически оформлены маркерами мужского или женского рода, например: *адвокат, юрист, травматолог, фермер, науковец, депутат; колега, слуга, нероба, задавака, забіяка, зануда*» [Безпояско, Городенська, Русанівський В. М. 1993: 54].

⁸ «Имена существительные типа *анестезіолог, офтальмолог, геолог, географ, академік* имеют грамматическую форму мужского рода, которая способна обозначать любое лицо, независимо от пола» [Загнітко 2011а: 149].

Наличие в языке наименований, недифференцированных по признаку рода и пола, обозначающих как мужского, так и женского референта, обусловлено многими причинами. Основными из них являются: отсутствие продуктивных фемининных образований от многих бессуффиксных слов, относящихся к категории лица и имеющих общее родовое значение (рус. *друг, враг*, укр. *ангел, товариш*, польск. *człowiek, gość*, чешск. *sirotek, jedináček*); отстранение пейоративных наслоений; обобщенный характер официальных должностных обозначений мужского рода сравнительно с экспрессивно окрашенными парными феминативами⁹ (рус. *врачиха, техничка, профессорша*, укр. *фразеологиня, філологиня, бухгалтерша*, польск. *filolożka, pedagożka, socjolożka*); консерватизм языковой системы, способность некоторых феминизирующих формантов обозначать женщину не только по статусу, должности, профессии, но и по ее семейному положению (рус. *красноармейка* – «жена красноармейца» и «женщина-красноармеец», укр. *млинариха* «жена мельника» и «женщина-мельник», польск. *majorowa* «жена майора» и «женщина-майор», чешск. *sladková* «жена пивовара» и «женщина-пивовар»); языковые факторы семантико-морфологического характера (т.н. явление совмещенной омонимии) (рус. *сигаретница* «портсигар, сигарница», «пожилая курящая женщина», укр. *скудельниця* «яма для массовых захоронений», «женщина-гончар», польск. *szoferka* «кабина шофера», «женщина-шофер», чешск. *chemička* «химический завод», «женщина-химик»); факторы фонетико-морфологического характера (возникновение труднопроизносимых групп согласных на фонеморфологическом шве) (рус. *музыковедша*, укр. *озвучувачка*, польск. *adiunktka*, чешск. *kardiochirurgka*¹⁰); факторы социально-психологического характера (нежелание женщин актуализировать сему пола в наименованиях по профессии, роду деятельности, социальному статусу ввиду более высокого престижа маскулинизмов).

Генерализация относительно семантики пола изучаемых наименований происходит на трех уровнях: в первом случае субъектом становится не лицо вообще, а конкретный индивид (*Я хочу выпить за хирурга Сидорову потому, что если бы не она, – я бы остался без работы*), во втором – существительное мужского рода вместо выделения субъекта деятеля из ряда ему подобных становится названием-характеристикой (*Татьяна Иванова – дипломированный специалист в области созда-*

⁹ Это явление не характерно для чешского языка, где формально мужской и женский коррелят практически всегда равнозначны и на семантическом, и на прагматическом уровне (ср. *lékař = lékařka, filolog = filoložka, matematik = matematicka, inženýr = inženýrka* и под.).

¹⁰ В чешском языке это скорее недостаточная адаптированность слова иностранного происхождения.

ния и проведения бизнес-тренингов, доктор наук, профессор), в третьем – мужские номинанты употребляются во внеполовом значении (*Наряду с официантами и барменами часто требуются повара, шеф-повара*) [Безпояско, Городенська, Русанівський 1993: 60].

С существительными мужского рода, называющими профессию, должность, звание, но обозначающими женщину в единственном числе, сказуемые и определения сочетаются в исследуемых языках по-разному. В русском языке с подлежащим, которое выражено существительным, способным обозначать лиц мужского и женского пола, сказуемое согласуется по смысловому принципу: *В кабинет вошел врач Иванов; В кабинет вошла врач Иванова*. В то же время определения согласуются с теми же существительными только по грамматическому принципу: *В кабинет вошел новый врач Иванов; В кабинет вошла новый врач Иванова*. В литературной речи категорически недопустимо смысловое согласование определений с существительными, способными обозначать лиц обоих полов, но не относящимися к общему роду (*...*вошла новая врач Иванова*) [Голуб 2002: 284].

Подобную ситуацию наблюдаем и в украинском языке, в котором языковая традиция согласования подлежащего, выраженного существительным, способным обозначать лиц мужского и женского пола, со сказуемым так же, как и в русском, тяготеет к норме согласования по мужскому грамматическому роду [Загнітко, Вінтонів, Сегін 2011: 278; Громко, Стецюк 2009: 309]. Украинские исследователи даже предлагают в таких случаях «конкретизировать род имени существительного, выступающего в роли подлежащего, с целью избежать нарушений правила грамматического согласования подлежащего со сказуемым» [Загнітко, Вінтонів, Сегін 2011: 279], например: *Інспектор у справах неповнолітніх Марія Горошко провела з ним не одну бесіду*. Определения согласуются с существительными мужского рода, называющими профессию, должность, звание, но обозначающими женщину в единственном числе, как и в русском языке, только по грамматическому принципу: *Головний технолог заводу п. Дубровська закінчила нараду*. Авторы учебных пособий по деловому украинскому языку и культуре общения нередко замечают, что «высказывания типа *головна технолог, старша бухгалтер поїхала у відрядження* не отвечают нормам украинского литературного языка» [Пентилюк, Маруніч, Гайдаєнко 2011: 190].

В польском языке нормой считается согласование сказуемых и определений с именами существительными мужского рода, называющими профессию, должность, звание, но обозначающими женщину в един-

ственном числе, по женскому грамматическому роду. Причиной тому – обязательное употребление в литературном языке слова *pani* как части подлежащего, именующего женщину по профессии [Łaziński 2006: 274], с которым впоследствии и согласовывается конструкция предложения: *Pani Profesor zdecydowała, że zrobi wszystko by jak najdłużej chronić mnie przed lekami, które dają szybko bardzo dobre efekty ale mają też mnóstwo skutków ubocznych i – jak wiadomo – nawet po nich nie ma żadnych reguł co do czasu, w którym luszczycyca znów zaatakuje* (Luszczycy.pl/historie-chorych, 2010–2014). В разговорном языке находим и случаи словоупотребления имен существительных, называющих лиц мужского и женского пола по профессии, без обязательного *pani*, что не меняет, однако, тип согласовательной конструкции: *Nowa administrator kamienicy przy ul. Piaskowej w Poznaniu spotkała się z mieszkańcami* (Radiomerkury.pl, 17.11.2011), *Mam spotkanie z nową dyrektorką* [Łaziński 2006: 233]. Однако при конкретизации рода имени существительного, выступающего в роли подлежащего, и в польском языке определения согласуются обычно по мужскому грамматическому роду: *Maria Kowalska została nowym prezesem stowarzyszenia* (чаще, чем: *została nową prezeską*) [Łaziński 2006: 233].

Чешский язык как язык с регулярным мовированием имеет для таких случаев четкие правила: синтаксическое согласование в единственном числе здесь происходит по женскому грамматическому роду: *V 80. letech 20. století pracovala ve Výzkumném ústavu zemědělské univerzity jako inženýrka a vědkyně* (Wikipedia.org, 26.03.2013). Хотя бывают и редчайшие исключения из правила: *A tady stojí před námi a před studenty medicíny jiná Dr. Písařovicová, vědec a pedagog, Ten si vzal pěkného sekanta, Ta holka je pracant* [Basaj 1996: 277]. Чешский исследователь Ф. Оберпфальцер объясняет это исключительное явление так: «Использование мужского рода для обозначения женщины является обычно пейоративным, однако мы выбираем форму мужского рода из уважения, если женщина занимает важное место в обществе, или когда речь идет о каком-то исключительном ее достижении, академическом титуле и т.п.; мы используем мужской род в таком случае даже вопреки правилам грамматического согласования» [Oberpfalzer 1933: 242].

Синтаксическое согласование имен существительных со сказуемыми и определениями во множественном числе по мужскому грамматическому роду в исследуемых языках также носит различный характер. Русский и украинский языки здесь «не делают различий» между мужским и женским полом референта: рус. *Стамбульские профессора были уволены за порнодиплом* (NETВестник, 09.01.2011); укр.

За роки незалежності кількість українських науковців скоротилася утричі. Доктори і кандидати наук, фізики, біологи і медики масово виїжджають за кордон (Українська правда життя, 03.06.2013). Грамматическая система польского и чешского языков в этом плане предполагают наличие личномужской и неличномужской форм категорий имен и глаголов. Как правило, если речь идет о мужчинах или обществе, включающем мужчин, польский и чешский языки используют личномужскую форму: польск. *Biolodzy i zootechnicy zmieniają siedzibę?* (Radioszczecin.pl, 31.07.2012); чешск. *S oteplením přichází tání, vodohospodáři raději vypouštějí přehrady* (Novinky.cz, 09.04.2013).

Вторую группу диссиметричных номинантов в нашей классификации составляют **наименования общего рода** (под которыми, мы, придерживаясь общепринятой точки зрения, понимаем «группу слов общего (вернее: и того и другого, и мужского и женского) рода, оканчивающихся в именительном падеже на *-a* (*-я*) и означающих лица не только женского, но и мужского пола» [Виноградов 2001: 69]). Вне контекста такие наименования *sexus*-недифференцированы, их референция относительно пола зависит от синтаксической конструкции предложения, в котором они были употреблены, т.е. они не маркированы относительно пола.

Наименования общего рода зачастую имеют ярко выраженную оценочную, характеристичную семантику (ср. рус. *мямля, умница, подлиза*, укр. *нахаба, гуляка, базіка*, польск. *niezdara, gaduła, beksa*, чешск. *nestyda, neposeda, nemluva*). Существует лишь небольшая группа существительных общего (м. и ж.) рода с нейтральной оценкой: рус. *заввала*, укр. *колега*, польск. *sierota*, чешск. *sírota*. Характеристичность семантики большинства существительных общего рода дала основания ряду ученых [Мороз 2009; Тараненко 1993; Павлова 2011] выделить среди них группу единиц, реализующих стереотипно мужские (рус. *пьяница, гуляка, ворюга*, укр. *гульвіса, посіпака, п'яниця, задірака, волоцюга, одчаяка, зірвіголова*, пол. *toszygęba, pijaczyna, włóczęga*, чеш. *chlupatina, klacmunda, flanděra, oleza, ochlasta*) и стереотипно женские характеристики (рус. *кликуша, плакса, недотрога, рева, растрепа, чистюля, кривляка*, укр. *нечоса, неумивака, недоторка, куйовда, рюмса*, пол. *kuchta, beksa, gaduła, ciemcia*, чеш. *kokta, netýkavka, brepta, mluvka, patla, rozpusta*), но и их референция (включая и случаи родо-половой транспозиции) реализуется по линии синтаксического согласования.

Синтаксическое согласование существительных общего рода в единственном числе реализуется только в предложении. Для этого исполь-

зуются различные согласовательные средства: местоимения, имена собственные, глагол в форме прошедшего времени, прилагательное: рус. **Этот левша** – один из самых выдающихся шахматистов планеты (Otveta.mail.ru, 02.07.2011), *Временами, когда я смотрел, как **эта левша** выполняет свои утонченные укороченные удары, у меня в голове всплывали образы Навратиловой, Новотны и даже Джона Маккинроя* (Sports.ru, 11.05.2010); укр. *Ющенко визнав, що **він** – **каліка*** (Вікна-Новини, 07.07.2011), *Я прокинулася, як завжди, від важкого туберкульозного кашлю в мене під вікнами, – розкаже вона, попиваючи повільно каву з лимоном, – **якась каліка** щоранку **намагалася бігати**, задихаючись від того кашлю, і кожного разу – під моїм вікном* (Proza.kz, 2011–2014), польск. *A przecież Anka i Kasia, Judyta i nawet **ten gapa** Piotrek, oni wszyscy znaleźli dla siebie dusze, i to nie-jedną!* (Rynsztok.pl, 14.01.2012) *Ostatnio uparcie powtarzałam jej „ako ako” a **ona, gapa jedna**, nie wiedziała o co mi chodzi* (Blog jabluszko na www.smyki.pl, 21.06.2008); чешск. *Soudě podle fotek to vypadá, že ačkoli je Mikuláš blondáček s tváří andílka, bude to **pěkný neposedá*** (Super.cz, 06.03.2013), *Jen nebyla **taková neposedá** a byla taková uvědomělá*. (Rodina.cz, 17.07.2011).

Небезынтересно, что существительные общего рода, будучи по своей сути феминативами, во множественном числе реализуют генерализирующую функцию: ср. рус. *Почему августейшие особы так называются? Почему они, допустим, не «октябрешие»?* (Интернет-газета newslab.ru, 23.10.2007); укр. *Під час сильних морозів служби соціального патрулювання під час рейдів виявили майже 5000 осіб, які потребують сторонньої допомоги* (Golos.ua, Новини, Суспільство, 12.02.2012); польск. *Czy prokurator i Policja będą ścigać wszystkie osoby, które brały udział w popełnieniu przestępstwa, czy tylko te, które wskażą?* (Pokrzywdzeni.gov.pl, 13.04.2011); чешск. *Žadatelé o účast v programu Zažijte Kanadu nejsou oprávněni využívat třetí osoby, které by je zastupovaly v jednání s Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního obchodu Kanady* (Vláda Kanady, canadainternational.gc.ca, 20.11.2012).

Существительное общего рода *особа*, будучи феминативом, не только выполняет генерализирующую функцию, но в чешском и польском языках даже становится «отправной точкой» для согласовательной конструкции предложения. Остальные феминативы-существительные общего рода обнаруживают аналогичную тенденцию. В единственном числе во всех исследуемых языках они могут быть идентифицированы в своей референции только в зависимости от контекста, во множествен-

ном же числе интересно употребление этих феминативов-существительных в западнославянских польском и чешском языках.

В польском языке в предложениях с подлежащим, выраженным существительным общего рода, синтаксическая конструкция предложения согласовывается по женскому грамматическому роду: *Do niedawna tamtejsze sieroty były rozsyłane do innych powiatów*. (<http://www.skarga.edu.pl>, Dom dziecka w Bilohirii na Ukrainie, 12.05.2014); *Były wśród nas beksy niemałe, dziś przedszkolaki z nas doskonale* (Szkolnastro-na.pl, 24.08.2009). В чешском языке согласование по женскому грамматическому роду происходит лишь на уровне определений: *Starosta dělá jedině dobře, že si řekl, že pořádní občani musí mít v něčem přednost, a ty nezbedy nevychované musíme nějak potrestat* (Voříšek: občasník pro Okříšky a okolí, 18.04.2004), ср. *Nejsou všichni, ale slibuju, že si ty nezbedy, kteří chyběli najdu a postarám se, aby byla galerie kompletní* (147. PS Galaxie, Pražská nezisková organizace pro děti s využitím volnočasových aktivit, 20.03.2000); *Když přijdeme do školy, sedím na zemi, dívám se po třídě na ty nezbedy, kteří běhají po třídě kolem dokola a povykují jako šílenci* (<http://maszskt.cz/casopisy/mascasek/rocnik2/>, 10.09.2013).

Третью группу диссимметричных наименований мужчины и женщины, не эксплицирующих родо-половых различий в плане формы выражения, составляют в исследуемых языках **одушевленные существительные среднего рода**. Семантика пола у таких наименований находит свое выражение исключительно контекстуально, так как одушевленные существительные среднего рода обладают потенциальной возможностью обозначать как мужского, так и женского референта.

В современном русском языке существительные среднего рода, обозначающие лицо, – единичны. Это наименования типа *дитя, лицо, животное, существо, божество, чудовище, страшилище, ничтожество*. По В. В. Виноградову, «категория лица не сочетается со средним родом. Со средним родом сочетается самое отвлеченное представление о категории не-лица (ср.: *существо, божество*). Имена существительные среднего рода только метафорически, в качестве самой общей характеристики или в функции сказуемого (*чудовище, чудище, страшилище*) могут быть применены к живым существам мужского или женского пола (ср. в вульгарном просторечии о врале и вралихе: *такое трепло и т.д.*)» [Виноградов 2001: 77]¹¹.

¹¹ В русском языке слова типа *бобылишко, подьячишко* уже в XVII веке изменяют средний на мужской синтаксический род [Шульга 2003: 53]. В словаре В. И. Даля находим наименование *мужло*, однако в значении мужского грамматического рода с семантикой «грубый, неотесанный мужик» [Даль 1955]. Сегодня наименований лица среднего

Украинский, польский и чешский языки располагают куда большим потенциалом словоформ среднего рода для обозначения лица. Речь идет о наименованиях типа укр. *базікало, ледацо, забудько, одоробло, брехло*¹², польск. *cudo, biedactwo, ścierwo, pomiotło, dno*, чешск. *oplévadlo, zlobidlo, fntidlo, nebožátko, milátko* и др. Такие единицы обнаруживают высочайший уровень экспрессивно-оценочной насыщенности компонентов парного противопоставления. Асексуальность среднего рода семантически связана с незрелостью, неполноценностью, пассивностью, неправомочностью, неполноценностью кого-либо, так как описательно употребление среднего рода обычно обозначает не человека, но вещь. А. А. Тараненко в этой связи приводит такой пример: *ледацо* – это *леда* + *цо* (вместо *кто*), *леда-цо* «первая попавшаяся, несущественная вещь; мелочь» [Тараненко 1993: 78]. Яркая оценочность одушевленных существительных среднего рода зачастую связана с наличием в их структуре деминутивной (укр. *паненя*, польск. *kurczątka*, чешск. *kvítka*)¹³ или аугментативной семантической составляющей (укр. *бідачисько*, польск. *bożyszczce*, чешск. *člověčisko*), которая, в свою очередь, придает наименованию характер позитивной либо негативной оценки.

Следует также отметить, что в исследовании к диссимметричным мы не относим наименования лиц мужского или женского пола, маркированные средним родом типа укр. *дівчище, бабище, чоловічисько, дідисько*, польск. *babsko, dziewczynisko, chłopisko, dziadysko*, чешск. *vdávadlo, děvče, ženidlo, mužisko*. Семантика и референтная соотношенность таких наименований зависит, в первую очередь, от характера образующей их основы, что влечет за собой четкую дифференциацию обозначения референта относительно пола, – укр. *бабище* – уничиж. увелич. «баба», *чоловічисько* – увелич. «мужчина», пол. *chłopisko* – 1. разг. «одобрительно, реже неодобрительно о мужчине», 2. разг. «высокий,

рода исследователи фиксируют лишь в русских говорах (*ковыряло, коверкало, садило*) [Токмакова 2009], в разговорной речи (*мурло*) [Химик 2004].

¹²Ср. мнение авторов «Грамматики украинского языка», которые квалифицируют такие наименования как существительные потенциального рода, то есть часть наименований, маркированных грамматически средним родом, например: *ледацо, мурло, базікало, мазило, одоробло, брехло, убоїще*. Авторы также настаивают на том, что омонимичные формы среднего рода, обозначающие как лицо мужского, так и женского пола, являются спецификой исключительно украинского языка и рассматривают их в группе феминативов [Безпояско, Городенська, Русанівський 1993: 61–63]. Как видим, примеры из других языков опровергают такое категоричное утверждение.

¹³Заметим, что несамостоятельность, беспомощность, уязвимость именуемого может вызывать у носителей исследуемых языков и позитивное, снисходительное, сочувственное отношение: укр. *дитятко, золотко*, польск. *zlotko, słonko*, чешск. *nebožátko, milátko*.

широкоплечий мужчина», *babsko* – разг. «уничижительно, неодобрительно о женщине», чешск. *mužisko* – экспр. «мужик, мужчина», *děvče* – «девушка (достигшая или не достигшая совершеннолетия)» и т.п. Неспособность включения в семантический объем наименований такого рода лиц мужского и женского пола исключает эту группу наименований из диссимметричных как таких, которые контекстуально могут обозначать мужчину и женщину.

Синтаксическое согласование одушевленных существительных среднего рода как в единственном (рус. *Ну и где это ничтожество, этот подлый мерзавец?* (Бриньон Луи. Наказание свадьбой); укр. *Мамо! – говорила Зося, де ви взяли таке одоробло, а не наймичку?* (Иван Нечуй-Левицкий. Кайдашева сім'я); польск. *Brzydliwa, infatylna i durnowata baba! Kto to pomiotło wpuszcza na wizję?* (Fakt.pl, 26.11.2011); чешск. *Pro mě je teď nejuvětší štěstí Ondrášek, to zlobidlo, co čmárá po zdech pastelkama, to zlobidlo, co vymýšlí lumpárny, ten můj chlapeček který každé ráno přijde a pošeptá mi „maminko já tě mám tak rád”* (Baby-Cafe.Cz, 24.10.2007)), так и во множественном числе (рус. *Знаете, кто настоящие чудовища? Люди! Люди и больше никто!* (MyPage.Ru, 30.04.2013); укр. *Такі базікала, як Гаррі Непосида, ладні обмовити молоду жінку тільки за те, що вона випадково не поділила думки щодо їхньої персони* (Джеймс Фенімор Купер. Звіробій); польск. *Że niby ci żywiący się colą i papierosami, w tych powyciąganych swetrach, w tych buciorach, ci którzy patrzą na ciebie jak na kogoś po drugiej stronie mocy? Oni? To są te bożyszczka seksu? Z nimi zdobywa się szczyty?* (Gazeta.pl, 17.05.2010); чешск. *A z toho hnusu, co jsem včera četl, mě napadlo, jak by asi psal o takových lidech, jako je Olga Hepnarová, manželé Stodolovi, Anders Breiwick, nebo Hitler. Třeba bych se taky dozvěděl, že to jsou chudátka a nebožátka, která zabíjela jen pro to, že je nikdo neměl buď rád, anebo je nepoplácal po ramenou* (Blog.cz, 04.03.2013)) требует более широкого контекста, что характерно для всех изучаемых групп диссимметрии.

Как видим, семантическая категория пола находит и в изучаемых языках и иные, не только словообразовательные средства выражения, связанные с культурно-языковой традицией языковой идентификации мужчины и женщины. Хотя противопоставление по полу и коррелирует с грамматической категорией рода, оно не сливается с ней и не должно с категорией рода смешиваться. С семантической точки зрения влияние категории пола на категорию рода состоит в том, что в различных разрядах наименований лица разряды пола непосредственно регулируют распределение между мужским, женским, а также общим родом. В то

же время формальные показатели рода, которые обычно квалифицируют как типичные, не обнаруживают прямого соотношения с полом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- BASAĀ, M. (1996): *Determinanty płci żeńskiej w języku polskim i czeskim*. In: *Žena – Jazyk – Literatura*, s. 274–278.
- Komunikaty Rady języka polskiego przy prezydium polskiej akademii nauk (2002): *Forma żeńska rzeczownika marynarz – marynarka?* In: *Poradnik Językowy*, z. 7, s. 72–73.
- ŁAZIŃSKI, M. (2006): *O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytułowe i ich asymetria rodzajowo-płciowa*. Warszawa.
- OBERPFCALCER, (JÍLEK) F. (1933): *Rod jmen v češtině*. Praha.
- SPP: DOROSZEWSKI, W., KURKOWSKA, H. (1980): *Słownik poprawnej polszczyzny*. Warszawa.
- АРХАНГЕЛЬСКАЯ, А. (2011): *Сексизм в языке: мифы и реальность*. Оломоуц.
- АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Т. (2013а): *Родо-половая транспозиция в лексике и фразеологии русского, украинского, польского и чешского языков*. In: *Słowo. Tekst. Czas XII. Frazeologia w idiolektach i systemach języków słowiańskich*. Т.1., с. 174–182.
- АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Т. (2013б): *Симметрия/асимметрия категорий рода и пола в системе наименований лица: взаимодействие означающего и означаемого*. In: *Tradycja i wyzwania. Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku*. Krakow (в печати).
- БЕЗПОЯСКО, О. К., ГОРОДЕНСЬКА, К. Г., РУСАНІВСЬКИЙ, В. М. (1993): *Грамматика української мови. Морфологія*. Київ.
- БОДРИЙЯР, Ж. (2000): *Соблазн*. Москва.
- БРАНДНЕР, А. (2003): *Особенности выражения категории рода у одушевленных существительных в русском и чешском языках*. In: *Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity*, Brno, с. 13–24.
- ВИНОГРАДОВ, В. В. (2001): *Русский язык. Грамматическое учение о слове*. Москва.
- ГОЛУБ, И. Б. (2002): *Русский язык и культура речи*. Москва.
- ГОТТ, В. С. (1972): *Философские вопросы современной физики*. Москва.
- ГРАУДИНА, Л. К., ИЦКОВИЧ, В. А., КАТЛИНСКАЯ, Л. П. (1976): *Грамматическая правильность русской речи: Опыт частотно-стилистического словаря вариантов*. Москва.
- ГРОМКО, Т., СТЕЦЮК, Р. (2009): *До вивчення синтаксичних норм у фаховій підготовці правознавців*. In: *Наукові записки*, Вип. 86, с. 306–311.
- ДАЛЬ, В. И. (1955): *Толковый словарь живого великорусского языка*. В.4 т. Москва.
- ЕСПЕРСЕН, О. (1958): *Философия грамматики*, пер. с англ. Москва.
- ЗАГНІТКО, А. (2009): *Асиметрія в граматиці*. Рец. на кн.: Мороз Т. Ю. Явище семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічних категорій іменника. In: *Лінгвістичні студії*, вип. 19, с. 337–340.
- ЗАГНІТКО, А. П. (2011): *Теоретична грамматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис*. Донецьк.
- ЗАГНІТКО, А. П., ВІНТОНІВ, М. О., СЕГІН, Л. В. (2011): *Український синтаксис: навчально-практичний комплекс*. Донецьк-Слов'янськ.
- КОНОВАЛОВА, Л. И. (1997): *Имена существительные в русском языке, обо-*

- значающие профессию женщины.* In: История русского языка: Словообразование и формобразование, с.72–79.
- КОПЕЛИОВИЧ, А. Б. (1977): *К вопросу о кодификации имен существительных общего рода.* In: Грамматика и норма, с. 178–192.
- ЛАСКОВА, М. В. (2001): *Грамматическая категория рода в аспекте гендерной лингвистики.* Ростов-на-Дону.
- ЛИТНЕВСКАЯ, Е. И. (2000): *Русский язык: краткий теоретический курс для школьников.* Москва.
- МИЛОСЛАВСКИЙ, И. Г. (1981): *Морфологические категории современного русского языка.* Москва.
- МОРОЗ, Т. Ю. (2009): *Явище семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічних категорій іменника.* Харків.
- НИКИТЕВИЧ, В. М. (1963): *Грамматические категории в современном русском.* – Москва.
- ПАВЛОВА, Т. С. (2011): *Существительные общего рода в русском языке.* Москва.
- ПАНОВ, М. В. (1968): *Морфология и синтаксис современного русского литературного языка.* Москва.
- ПЕНТИЛЮК, М. І., МАРУНИЧ, І. І., ГАЙДАЄНКО, І. В. (2011): *Ділове спілкування та культура мовлення.* Київ.
- ПЛОТНИКОВ, Б. А. (1989): *О форме и содержании в языке.* Минск.
- РОЗЕНТАЛЬ, Д. Э. (1989): *Справочник по правописанию и литературной правке: Для работников печати.* Москва.
- САВЕЛЬЕВА, О. С. (2011): *Личные существительные как часть семантической структуры категории предметности.* In: Сборник материалов международной заочной научно-практической конференции «Современные гуманитарные, общественные и социально-экономические науки: актуальные проблемы и тенденции развития» (15 сентября – 25 сентября 2011 г., Москва), [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://konf.ychitel.com>.
- ТАРАНЕНКО, О. О. (1993): *Динаміка слов'янських іменних класифікацій у діахронії і синхронії (на формально-семантико-граматичному та словотвірному рівнях).* In: Слов'янське мовознавство, с. 74–98.
- ТОКМАКОВА, Д. М. (2009): *Экспрессивные наименования действующего лица в русских народных говорах.* [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2009/filologia.htm.
- ХИМИК, В. В. (2004): *Большой словарь русской разговорной речи.* Санкт-Петербург.
- ЧЕРНЯК, В. Д. (2002): *Русский язык и культура речи.* Москва.
- ШАХМАТОВ, А. А (2001): *Синтаксис русского языка.* Москва.
- ШУЛЬГА, М. В. (2003): *Развитие морфологической системы имени в русском языке.* Москва.

Профиль автора:

Архангельская Татьяна Алексеевна

кандидат филологических наук

Сфера научных интересов: теория номинации, ономазиология, лексикология, фразеология, лингвистическая гендерология.

Katedra slavistiky Filozofické fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Křížkovského 10

Olomouc 771 48

Česká republika

<http://www.slavistika.upol.cz/>

anarchy-8@mail.ru

ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ПОЛЩУК

Україна, Рівне

ОНОМАСІОЛОГІЧНІ СТРУКТУРИ НОМІНАТИВНИХ ОДИНИЦЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЮДИНИ

ABSTRACT:

Onomasiological structures of nominative units which designate human´s intellectual characteristics

The article deals with usability of such terms as “onomasiological model” and “onomasiological structure” (M. Dokulil) for the purpose of studying the process of nomination of the human being on the basis of its intellectual characteristics. Based on Ukrainian, Russian and Czech languages.

KEY WORDS:

Nomination – nominative unit – manner and matter – onomasiological model – onomasiological structure.

Проблеми теорії номінації постійно перебувають у центрі уваги дослідників, які намагаються виявити «невипадковості» у процесі отримання номінантом імені. У сучасних ономасіологічних дослідженнях усе частіше звучить думка про те, що форма номінативної одиниці – це не просто зовнішня оболонка її змісту. Це гетерогенна сутність, що має свій зміст, відображаючи спосіб представлення позначуваного данним знаком, несе на собі інформацію про напрямок руху людської думки на шляху надання об'єктові імені (О. Белич, Л. Невідомська, Т. Кияк, Ю. Маслова, Я. Горецький, Ю. Фурдік та ін.). У такому сенсі можна говорити і про структуру форми, що передбачає певну модель її побудови.

Будь-яка ознака в процесі номінації абстрагується від певної сутності (предметної чи непередметної) у типових ономасіологічних моделях, що отримали у теорії номінації, услід за М. Докулілом, назву ономасіологічних структур. Виникнення номінанта у мові можна і потрібно розглядати не лише з погляду його подальшого функціонування, але й з погляду його творця, адже саме людським чинником – ставленням номінатора до предмета об'єктивного світу на певній стадії його пізнання – можна пояснити не лише вибір імені для номіната, але й спосіб його іменування, що відображає наочно-чуттєвий досвід номінатора як мовної особистості. Закономірності світу розкриваються і пізнаються номінатором у його концептуальній системі. Мова може розкрити шлях пізнання істини буття суб'єктом саме через встановлення зв'язків між формою знака та концептуальною системою номінатора. Особливості, риси, елементи позамовної та мовної дійсності, які зумовлюють появу номінанта у єдності форми та змісту, і є сферою інтересів ономасіології [Архангельська 2007: 20–35]. Номінант, переходячи від фази «об'єкт реальної дійсності – людина за ознакою її інтелектуальних характеристик» до фази «номінант людини за ознакою її інтелектуальних характеристик» набуває певних ономасіологічних ознак, яких надає йому номінатор. Ці ознаки закорінені у відповідних формальних маркерах похідної одиниці.

Завдання цього дослідження – виявити конкретні кроки суб'єкта-номінатора на шляху створення мовного позначення людини за ознакою її інтелектуальних характеристик. Сукупність мовних позначень *людини розумної та нерозумної (дурня)*, або ономасіологічна парадигма, є різномірною щодо ономасіологічних характеристик таких одиниць. Тому у статті буде здійснено спробу аплікувати на усі їх типи (словотвірні, композитні, семантичні, компаративні, фразеологічні тощо) єдину ономасіологічну модель, яка дасть змогу виявити спільне у русі людської думки на шляху до створення імені у різних мовах. Така модель була запропонована свого часу чеським вченим М. Докулілом, але стосувалася власне словотвірних номінантів. Можливості її використання для вивчення ширшого кола номінантів, у нашому випадку – найменувань розумного та дурня – стануть нашим завданням. Матеріал дослідження складають номінативні одиниці на позначення людини за ознакою її інтелектуальних характеристик в українській, російській та чеській мовах.

З огляду на мету дослідження у подальшому аналізі буде використане поняття «ономасіологічна структура» номінанта. У ономасіологічній

структурі відображено процес і результат отримання об'єктом певного найменування.

Ідея ономасіологічної структури похідної одиниці належить чеському вченому М. Докулілу [Dokulil 1962: 29–32]. Ономасіологічні структури (ОС) у його баченні є основними мисленнєвими структурами, які мають у певній мові своє категоріальне (ізоморфне) вираження, що відповідає способам номінації цієї мови. Досліджуючи ономасіологічні структури, реалізовані морфологічними resp. синтаксичними (категоріальними) засобами мови, вчений залишав поза увагою засоби екстраграматичні [Dokulil, Kuchař 1962: 236], однак не заперечував можливості вивчення під таким кутом зору і номінантів семантичних [Dokulil 1963: 85]. Ідея використання у аналізі мовного матеріалу ономасіологічних структур стала надзвичайно популярною у слов'янському мовознавстві [Кубрякова 1988: 3–23; Селіванова 1997: 8–12; Шкатова 1984; Куцак 2009: 188–194; Horecký 1999: 6–12; Furdík 1998: 321–329; Kořenský 1972: 193–198; Bozděchová 1994; Bednaříková 2009: 121–162; Ostrá 1972: 1–9], однак її апліковано головним чином на вивчення питань словотвору та синтаксису, хоча відразу ж після виходу монографії М. Докуліла Я. Корженський зауважував: основні риси структур номінантів різних типів є на загальне ідентичними [Kořenský 1972: 193–198]. Інші дослідники, що застосовували цю ідею на матеріалі номінантів різного типу, дійшли висновку, що є усі підстави бачити в ономасіологічних структурах певні риси універсальності і вважати їх оптимальними мікромоделлями для вивчення структур номінантів усіх типів [Архангельська 2007: 20–35]. Є й інша думка: деякі чеські вчені вважають, що така модель є недостатньою і що настав час вибиратися з «докулілових пут» [див. детальніше Bednaříková 2009: 121]. Спробуємо перевірити це твердження на зібраному й систематизованому нами матеріалі.

Щодо проблем словотвору М. Докуліл бачив ОС як структуру двочленну: спочатку явище позамовної дійсності номінатором у процесі номінації залучається до певного понятійного класу, що має в мові категоріальне вираження, – це член ідентифікувальний, названий *ономасіологічним базисом*; потім уже в межах цього класу явище визначається певною ознакою – це член диференціювальний, *ономасіологічна ознака*. У такий спосіб об'єкт позамовної дійсності спочатку визначається абстрактно – з огляду на клас (*genus*), а пізніше конкретно – з огляду на специфічні ознаки (*species*).

Ономасіологічний базис (ОБ) як фактор включення певного явища позамовної дійсності до певного понятійного класу, що має категоріальне вираження, за М. Докулілом, є завжди *простим*: відмінності сягають лише

різної міри узагальнення [Dokulil 1962: 29]. Водночас учений зауважує, що факт позамовної дійсності, який має отримати ім'я, залучається до певної ономасіологічної категорії й оформляється відповідно у її межах і як певна частина мови, і як представник певного семантичного розряду (скажімо, у прикладі, наведеному М. Докулілом, *učitel* ОБ – суфікс *-tel-* є одночасно і граматичним, і семантичним класифікаційним показником, адже це агентивний субстантивний суфікс чоловічого роду істот). Таке явище має місце у випадку релятивної номінації (індикативно-оцінний тип).

Проте у випадках, коли йдеться про кваліфікативно-оцінні номінанти, ОБ суміщення граматичного і семантичного складників не засвідчує. Крім того, у сфері кваліфікативно-оцінної номінації взаємовідношення ономасіологічної ознаки та ономасіологічного базиса виявляються оберненими стосовно до типових їх відношень у словотвірних номінантах, де базисом *звичайно* є афікс, ознакою *звичайно* є твірна основа. Тому дослідники для вивчення усіх типів номінантів пропонують розділити структурні складові ОБ на граматичний його компонент (ГОб) та семантичний (СОБ) [Архангельська 2007: 23] (пор. *окремий формально-граматичний показник* у складі ономасіологічної структури у баченні О. О. Селіванової [Селіванова 1997: 8–12]).

Наприклад, з граматичного і семантичного погляду ОБ – афікс *-ник* у номінанті *розумник* залучає похідне слово до понятійної категорії субстанції, особи, істоти, чоловічого роду як *носія певної ознаки* «розумний». Натомість у прикладі *світла голова* граматична і семантична складова ОБ не збігаються: граматично компонент *голова* залучає похідне найменування до понятійної категорії субстанції, але не-особи, не-істоти, жіночого роду, семантично – з урахуванням образного складника номінації – ідентифікує номінат як особу, істоту безвідносно до статі, як *носія певної* (асоціативно транспонованої) *ознаки* «розумний, винахідливий». Відповідно, семантичну ідентифікацію номінанта як представника ономасіологічної категорії субстанції, особи, істоти (як носія певної характерної ознаки) може забезпечувати СОБ різних типів. У *необразних* одиницях – *дериваційний* СОБ (цю роль виконує афікс): укр. *мудрій*, чес. *tudrc*; або *лексичний* (у випадках, коли класифікаційну роль виконуватиме ціле слово або твірна основа лексемного походження): укр. *несосвітенний дурень*, рос. *тугодум*. У *образних* одиницях-порівняннях – *семантико-граматичний*: наприклад, в укр. номінанті *тупий як патика* залучення номінанта до понятійної категорії субстанції, особи, істоти здійснюється через належність компонента *тупий* до семантично похідних одиниць (*тупий /чоловік = людина/*). У образних номінантах, що виникають

унаслідок перенесення найменування, СОБ має *асоціативний* або *асоціативно-образний* характер (укр. *голова, світла голова, тупак*, рос. *пень дырявый, голова мяккая*, чес. *hlouřá nádoba, korupovaný ošel*). У такому разі СОБ виявляється імплікованим, його роль перебирає на себе різновид семантичної транспозиції метонімічного чи метафоричного характеру (напр., *голова* – субстанція, не-особа, неістота, жіночого роду → *голова* /про людину/ – субстанція, особа, істота безвідносно до статі).

Ономасіологічна ознака (ОО). На відміну від ономасіологічного базиса як величини константної у певному типі номінації, ОО є величиною змінною, що конкретизує чи уточнює базис (укр. *нетяма* – субстанція, особа безвідносно до статі, що визначається ознакою *нетямущий*; рос. *неуч* – субстанція, особа безвідносно до статі, що визначається ознакою *неосвічений*, чес. *perozit* – субстанція, особа безвідносно до статі, що визначається ознакою *нерозумний*). У частині номінантів ОО експлікується й чітко встановлюється твірною основою. Вона може бути простою (укр. *розумець* – субстанція, особа безвідносно до статі, що визначається ознакою *розумний*) і складеною. За М. Докулілом, складена ОО може мати різну структуру, зокрема бути розвиненою ознакою дії чи діяльності – пацієнсом, результатом, місцем, часом, способом, мірою (укр. *тугодум* – субстанція /людина/, яка *туго думає*; ознакою якості /властивості/ – рос. *совершенный дурак* – *абсолютно нерозумна* /дурна/ людина, чес. *hlupák jeden* – людина *надзвичайно нерозумна, неадекватна* (*hlouřá*) тощо).

З огляду на це ОС у багатьох випадках виявляється структурою, чітко визначеними полюсами якої є, з одного боку, ономасіологічний базис, з іншого – визначальний компонент складної ономасіологічної ознаки. За М. Докулілом, це *ономасіологічний мотив*. Проте в іншій частині номінантів ономасіологічна ознака ідентифікується значно складніше, як-от у номінантів образних (укр. *Охрім, штурпак, товчач, тупак*, рос. *колода, дубовая голова, пенъ ольховый*, чес. *boží hovado, jelito, chomout, povidlový knedlík* та ін.). У такому разі ономасіологічну ознаку, що має вторинний (асоціативний чи метафоричний) характер, можна встановити, відновивши крок за кроком мотиваційне судження.

З огляду на завдання вивчення ономасіологічного механізму творення усіх типів номінантів, представлених у складі аналізованих ономасіологічних парадигм, для виявлення мотиваційного судження до оперативних одиниць дослідження буде залучено семантико-смыслову сутність, що одночасно зумовлена формально, – *внутрішню форму* (ВФ) як пучок асоціацій, адже внутрішня форма похідних номінантів

свідчить не лише про наявність асоціацій, але й підказує їх характер та напрямок (ці асоціації з огляду на досвід номінатора можуть бути соціально, культурно та історично зумовленими). ВФ, отже, виявлятиме ознаки універсальності щодо усіх типів номінантів, а відтак вербальна ланка механізму номінації буде визначатися внутрішньою формою. Це дозволить вийти на зв'язок семантичної, граматичної, формальної та внутрішньої структури номінанта.

Вагомим аргументом на користь необхідності реконструкції мотиваційного судження є і випадки, де конкретна мотиваційна ознака семного або асоціативного характеру у номінанті прочитується досить складно. Внутрішню форму таких номінантів Т. В. Матвеева умовно називає парадоксальною: мотиваційне судження тут практично не виявляє семантичних дотичних з номінантом і «мовби просвічує через нього іншим кольором». Складається враження, що вихідна форма обирається як основа номінації навздогад, з орієнтацією на те, що чим далі вона за семантикою від необхідного номінаційного змісту, тим краще [Матвеева 1979: 117–122] (напр., рос. *дуболом, дуботряс*, чес. *senožrout, božídárek*).

Встановлення мотиваційного судження посередництвом ВФ уможливить, таким чином, встановлення і важливого елемента ономаціологічної ознаки – ономаціологічної зв'язки (за М. Докулілом, це більш чи менш варіабельний транзитивний член, який опосередковує тип відношень між базисом та компонентом ономаціологічної ознаки – ономаціологічним мотивом). Виявлення таких відношень (які у процесі з'ясування механізму номінації є релевантними, а не факультативними, як вважає О. Селіванова) є у вивченні оцінної номінації надзвичайно важливим, оскільки вони, власне, й сигналізують, у який спосіб мотиваційне судження згортається у номінант. Таким шляхом вдасться встановити не лише сам мотив іменування, але й мотиватор і його номінаційні трансформації, спосіб номінації в залежності від мотиву, що пов'язаний із вибірковою імплікацією певних компонентів мотивувального судження у тій чи іншій мові. Ономаціологічна зв'язка виступатиме експлікатором певних смислових відношень у мотиваційному судженні, які, своєю чергою, визначатимуть статус ОБ і ОО та те, як саме судження згортатиметься у номінант. Дослідники виокремлюють декілька типів таких відношень.

Відношення *предикації* (із значенням активної чи пасивної дії). У такому разі функцію ономаціологічної ознаки виконує визначальний компонент мотиваційного судження, чи ономаціологічний мотив, а у ролі базиса виступають засоби суто класифікаційного значення (укр.

мудрець – той, хто постійно *мудрує* над несуттєвими речами; рос. *разумник* – той, хто постійно *розумує*; чес. *přemysl* – хто постійно *přemýšlí*, тобто розмірковує, мудрує).

Відношення *притаманності*. Під притаманністю розуміють наявність притаманних номінату властивостей як його об'єктивних зовнішніх чи внутрішніх характеристик. У такому разі функцію ономасіологічної ознаки виконує ономасіологічний мотив, функцію базиса перебирають на себе засоби кваліфікативного значення, що категоризують ОО як репрезентаційну властивість номіната (укр. *розумник* – той, хто є *розумним* (той, що визначається властивістю «бути розумним»). Такі відношення виявлятимуться у межах індикативно-оцінної сфери іменувань.

Відношення *характеризації* передбачають суб'єктивну оцінку. Суб'єктивний чинник призводить до того, що співвідношення між базисом та ознакою виявляється оберненим: афікс, який у попередніх випадках виконував роль ОБ, перетворюється на ОО, оскільки класифікаційне значення ОБ змінюється на оцінне. Наприклад, у рос. *архидурак*, чес. *arcíblb* – «несосвітений дурень», де твірна основа виконує роль ономасіологічного базиса (саме їй належить залучення номіната до певного понятійного класу), префіксод *архи-* (*arci-*) – роль ономасіологічної ознаки (він конкретизує, уточнює основу, але не вказує на клас предметів); аналогічно в укр. *дурило* (*дурнило*) – той, хто надзвичайно дурний, рос. *придурак*, *полудурак*, *межеумок* – не зовсім розумна людина, чес. *blázínek* – нерозумна, придуркувата, навіжена людина; дурник.

Афікс стає ономасіологічною ознакою, а твірна основа – базисом у демінутивах та аугментативах як виявах аксіологічної оцінної модальності квантитативно-кваліфікативного типу (укр. *дурник* – не зовсім розумна людина; рос. *дурище*, *дурьнда* – страшенно тупа, дурна людина, чес. *blboun* – дуже дурна людина, йолоп, телепень).

Метаболічні відношення (термін Я. Горецького). Такі відношення виявляють себе як порівняльні відношення образно-асоціативного типу *А є як Б, А є наче Б, А є таким, якби він був Б* (кваліфікативно-оцінні номінанти). У дію вступає понятійно-мовний зміст номінанта, ВФ якого стає посередником між мовною формою, що використовується у новій для неї функції називання, та об'єктом називання. Створюваний номінант асоціативно пов'язаний із тим елементом дійсності, що уже є мовно позначеним. Тут надзвичайної ваги набуває попередній смисловий об'єм ВФ, що має стати формою змісту нового номінанта У такому разі граматичним ОБ залишаються загальнокатегоріальні ознаки вихідної

форми номінанта (укр. *ідіот* – субстанція чоловічого роду, істота /А є як Б/, рос. *идол* – субстанція, чоловічого роду, предмет /А є подібним до Б/, чес. *biivol* – субстанція, чоловічого роду, істота, зоонім /А є таким, якби він був Б/), роль ономасіологічної ознаки приймає на себе смисловий об'єм «старої» мовної форми як поліознакової сутності, а семантичною складовою ОБ виступає конкретний параметр зіставлення (тип асоціації), що пов'язує «стару» та «нову» форму змісту.

Як бачимо, конкретна реалізація актів номінації людини за ознакою її інтелектуальних характеристик у різних мовах є різною, однак розуміння структури номінанта, номінаційні «кроки» вочевидь є дуже подібними. Ця подібність випливає з того, що такі структури – лише певний вибір із структур понятійних, пов'язаних певними відношеннями. Ономасіологічний базис та ономасіологічна ознака є тими основними векторами руху думки номінатора, які визначають його діяльність на шляху отримання номінатом імені. У різних типах номінантів ці вектори лише по-різному актуалізуються залежно від впливу номінаційної та прагматичної інтенції суб'єкта іменування. Тому побудову ономасіологічних моделей номінації людини розумної та людини нерозумної (*дурня*) у мовах, що вивчаються, цілком аргументовано можна здійснювати із використанням ономасіологічних структур. Подальшим кроком у так спрямованому дослідженні стане зіставний аспект вивчення процесу та результату номінації на цій ділянці номінативної системи.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

- АРХАНГЕЛЬСЬКА, А. (2007): *До питання про засади побудови загальної ономасіологічної моделі номінації*. In: Мовознавство, № 4–5, с. 20–35.
- КУБРЯКОВА, Е. С. (1988): *Словосложение как процесс номинации и его отличительные формальные и содержательные характеристики*. In: Теоретические вопросы словосложения и вопросы создания сложных лексических единиц. Пятигорск, с. 3–23.
- КУЦАК, Г. (2009): *Ономазіологічний підхід до процесів словотворення (на прикладі жаргонної лексики української мови)*. In: Мовознавчий вісник. Черкаси, вип. 8, с. 188–194.
- МАТВЕЕВА, Т. В. (1979): *Парадоксальная внутренняя форма как средство экспрессивности (на материале диалектных глаголов)*. In: Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск: НГУ, 1979, вип. 8, с. 117–122.
- СЕЛІВАНОВА, О. О. (1997): *Ономазіологічний аспект контрастивних досліджень*. In: *Slavica Tarnopolensia*, №4, с. 8–12.
- ШКАТОВА, Л. А. (1984): *Развитие ономасіологических структур (на примере наименований лиц по профессии в русском языке)*. Иркутск.
- VEDNAŘÍKOVÁ, B. (2009): *Tzv. transpozice aneb Jak se dostat z „dokulilovských síti“?* In: *Rossica Olomucensia*, vol XLVIII, n. 2, s. 121–126.

- BOZDĚCHOVÁ, J. (1994): *Tvoření slov skládáním*. Praha.
- DOKULIL, M. (1962): *Tvoření slov v češtině I*. Praha.
- DOKULIL, M. (1963): *Ke koncepci porovnávací charakteristiky slovanských jazyků v oblasti „tvoření slov“*. In: *Slovo a slovesnost*, 24, s. 85–105.
- DOKULIL, M., KUCHAR, J. (1962): *Vztah jazyka a myšlení ve struktuře pojmenování*. In: *Problémy marxistické jazykovědy*. Praha, s. 236–248.
- FURDÍK, J. (1998): *Motivačná intencia slova*. In: *Slovenská reč*, 63, s. 321–329.
- HORECKÝ, J. (1999): *Onomaziologická interpretácia tvorenia slov*. In: *Slovo a slovesnost*, 60, s. 6–12.
- KOŘENSKÝ, J. (1972): *Slovo, věta, onomaziologická kategorie*. In: *Slovo a slovesnost*, 33, s. 193–198.
- OSTRÁ, R. (1972): *K diachronnímu studiu onomaziologické struktury*. In: *Slovo a slovesnost*, 33, s. 1–9.

ПРОФІЛЬ АВТОРА:

Поліщук Олександр Сергійович

аспірант

Сфера наукових інтересів: лінгвокультурологія, теорія номінації, лінгвоконцептологія.

Кафедра теорії і практики англійської мови та прикладної лінгвістики, Рівненський державний гуманітарний університет

33000, Україна

Рівненська обл, м. Рівне

вул. Степана Бандери 12

<http://rshu.edu.ua/структура/факультет+іноземної+філології/кафедри/кафедра+теорії+і+практики+англійської+мови+та+прикладної+лінгвістики>
oleksandr_polishchuk@yahoo.com

***Komunikační situace a styl 2/ Studie k moderní mluvnici češtiny.* Eds. O. Uličný, S. Schneiderová. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, 218 s. ISBN 978-800-244-3535-0.**

Jedná se o monografii, která představuje druhý svazek sedmisvazkových Studií k moderní mluvnici češtiny. Jak již napovídá název, práci tvoří dva obsahové celky: první část, sociolingvistická, je věnována vybraným komunikačním situacím, druhá část stylistice. Tento svazek obsahuje celkem jedenáct studií.

Úvodní studie autorů Martina Beneše, Martina Proška a Kamily Smejkalové má název **Kodifikace a její role v současné společnosti** (15–24). Je zde mnohostranně zkoumáno pojetí pojmu kodifikace, včetně jejího chápání lingvistického vs. laického. Zajímavé a užitečné je sledování kodifikace v širším a užším smyslu v současných českých jazykových příručkách.

Autorem studie **Typické konverzační situace v češtině** (25–51) je Jiří Zeman, jenž se v rámci širokého spektra komunikačních situací zaměřuje na analýzu dvou konkrétních a velmi častých komunikačních situací, a to neoficiální komunikační situace ptaní se na směr a oficiální komunikační situace nakupování. Kromě verbálního předávání věcné informace obrací autor pozornost také na další složky analyzovaných rozhovorů, jako jsou kontaktní fráze, neverbální prostředky aj.

Specifický typ komunikace je zpracován ve studii Jana Kořenského **Právní komunikace** (52–69). Autor nejprve vymezuje komunikativní funkce právních předpisů, funkční strukturu a vlastnosti právní normy, popisuje postup při stanovení funkční struktury právní komunikace i funkční vlastnosti jednotlivých participantů obecného schématu této struktury. Dále se zaměřuje na uplatnění hlediska intertextuality v kontextu právní komunikace a na výrazovou segmentaci textu právních předpisů, která umožňuje stanovit jejich charakteristické morfosyntaktické struktury.

Světla Čmejrková se ve studii **Vědecký styl** (70–94) zabývá vědeckou komunikací. Konstatuje proměny vědeckého diskurzu i žánrovou rozrůzněnost současného vědeckého stylu a soustřeďuje se na porovnávání českého způsobu psaní vědeckých textů s anglosaskými normami vědecké komunikace. Zdůrazňuje pohyb norem českého vědeckého vyjadřování a počínající uplatňování anglosaského úzu i v některých českých vědeckých textech (zejména z humanitních oborů).

Obsahově bohatá studie Soni Schneiderové **Mediální diskurz** (95–121) se týká komunikační oblasti zahrnující různá odvětví žurnalistiky, pozornost je věnována zejména sféře zpravodajství. Autorka uvádí a na příkladech demonstuje aktuální prostředky typické pro současné zpravodajství, kdy je patrná snaha po atraktivitě stylizace, třebaže mnohdy na úkor objektivitu informace. Sleduje rovněž změny žurnalistického textu i jazyka ve srovnání s předchozím vývojem.

Posledním příspěvkem ke komunikačním situacím, tj. k sociolingvistické části monografie, je studie Evy Höflerové **Školská komunikace** (122–140). Jedná se o institucionální typ komunikace, která se realizuje ve školském dialogu. Autorka podrobně zkoumá tento dialog jak z hlediska jeho strukturní specifiky, spočívající v tzv. školské triádě (replika iniciační – zpravidla učitelova, reaktivní – zpravidla žáková a evaluační - zpravidla učitelova), tak z hlediska výrazové specifiky řeči účastníků školského dialogu.

Stylistická část monografie začíná studií Martina Proška **Objektivní stylotvorné faktory** (143–151). Autor se na základě výkladu těchto faktorů v současných stylistických pracích (zejména M. Čechové a kol. a M. Jelínka v PMČ) snaží přispět k zpřesnění jejich vymezení a klasifikace, což není v současné stylistice doposud zcela jednoznačné.

Následuje studie Kamily Smejkalové **Subjektivní stylotvorné faktory** (152–157). Autorka uvádí výčet těchto faktorů, uvažuje o jejich klasifikaci na centrální a periferní, upozorňuje na problematiku jejich konkrétní identifikace na základě určitého stylového rysu daného textu. Závěrem navrhuje brát v úvahu pro zkoumání subjektivních stylotvorných faktorů také recepční fázi komunikačního aktu.

Ve studii Soni Schneiderové **Pojem funkce a klasifikace funkčních stylů v české stylistice** (158–167) je sledován vývoj tradičního systému funkcí a funkčních stylů od dob Pražské školy. V závěru autorka kritizuje funkční přístup, vidí nedostatky tradiční klasifikace a zamýšlí se nad jinými možnostmi řešení, které se v současné stylistice nabízejí.

Autorem studie **Teoretické koncepce stylu a výrazová soustava Františka Mika** (168–183) je Petr Mareš. Zabývá se nejprve různými teoretickými koncepcemi stylu, včetně řady polarit, které pojmání stylu

znejasňují, poté se zaměřuje na výrazovou soustavu, tj. systém kategorií stylu, slovenského vědce Františka Mika. Jeho koncepci porovnává s koncepcí německého badatele Wilhelma Schneidera.

Monografii uzavírá studie Evy Höflerové **Elektronický hypertext** (184–197). Jedná se o elektronické texty, které jsou pořízeny jako texty cíleně využívající vlastnosti počítače a intertextové možnosti transtextuálního prostředí internetu. Autorka se zaměřuje na popis a charakteristiku zejména věcněsdělných elektronických hypertextů, sleduje jejich kompoziční vlastnosti, koherenci i kohezi. V závěru shrnuje konstantní vlastnosti hypertextu.

Závěrem je kniha vybavena seznamem odborné literatury klasické i nejnovější, věcným rejstříkem a anglickým resumé.

Recenzovaná monografie je kvalitní a vědecky fundovaný spis. Studie v ní obsažené jsou aktuální, mají vysokou úroveň teoretickou i úroveň věcného obsahu a jsou přínosné pro teoretické i praktické obohacení nejen současné lingvistiky, ale i sociolingvistiky, psycholingvistiky a některých dalších pomezních disciplín. Kniha bude tedy jistě příznivě přijata širokou obcí čtenářů nikoliv pouze lingvistického zaměření.

Helena Flídrová

**Pospíšil, Ivo: *K teorii ruské literatury a jejím souvislostem*.
Brno: Masarykova univerzita, 2013, 271 s. ISBN 978-802-1062-160.**

Předkládaná práce Ivo Pospíšila *K teorii ruské literatury a jejím souvislostem* je plodem dlouhodobého badatelského úsilí autora, v jehož práci se prolíná literární teorie a literární historie s pohledem na dějiny ruské literatury, nahlížené jako problém teoretický a viděné v prostorových souvislostech daného areálu a současně v širším slavistickém kontextu. Kniha má zároveň ambici prověřit nová východiska pro chápání teorie a historie slovanských literatur. Studie směřuje k obrysu nové koncepce teorie a historie ruské literatury, viděné pohledem implicitních dějů ve vývoji literatury a paralelně zaznamenávající aspekty srovnávací a genologické v kontextu jiných slovanských a dalších evropských literatur. Pospíšilův projekt vychází z představy neustálé interakce a sounáležitosti dějů, které jsou z jedné strany specifické pro ruskou literaturu a z druhé strany se střetávají s vlivy literatur evropských a literatury americké. Využíváním komparativní metodologie poetických modelů teorie literatury, historie literatury a areálového pohledu na literární vývoj vyvstává plastický obraz neustálé proměny a vývoje žánrových struktur. Autorem je zdůrazňována areálová koncepce ve studiu literárního vývoje, která vychází z prostorových faktorů literárního a kulturního kontextu, který je vnímán jako řetězec neustálých proměn a návratů, jako zdroj (především v ruské literatuře) neustále se obnovující kontinuitnosti.

Pospíšilova práce má nepochybně vedle dominujícího rusistického pohledu celkově slavistický charakter a potvrzuje již dříve formulovaný pre-post efekt, jenž poukazuje na paradoxní jev uvnitř literárního vývoje, v němž se propojují jevy autochtonní a alochtonní. V ruském románu autor zaměřil pozornost na jev, který byl nazván prae-post efekt (nebo prae-post paradox). Na ruském materiálu je prokázáno, že určitý jev může být transformován do jistého estetického prostředí jakoby nedokonale. Výsledný efekt se potom jeví nejen jako vývojová prefáze, ale také jako postfáze – jako originální estetická inovace.

Zvláštní pozornost je v předkládané knize věnována vzniku ruské literatury, její dualistické struktuře, jazyku a poetice, následně pak procesům jejího začleňování do kontextu literatur evropských. Část práce je věnována faktu, že samotná ruská literatura trvala na výkladu vlastní vývojové specifčnosti a rozvíjela tak ideu jedinečnosti ruské kultury a duchovnosti.

Následující část knihy logicky navazuje na předchozí oddíl a je zaměřena na konfrontaci ruských a všeobecně evropských konceptů literární teorie a historie. Autor v těchto pasážích zdůrazňuje problém konceptualizace ruské literatury a literární teorie z hlediska komplexního vidění světové literatury. Specifická pozornost je věnována Dostojevskému, který je na jedné straně viděn

jako autor výsostné originality, na druhé straně Pospíšil poukazuje na fakt, že tato Dostojevského umělecká výjimečnost je do určitého stadia vystavěna na „cizím“ materiálu, na kterém pak vzniká unikátní a neopakovatelná umělecká kvalita. I když tato myšlenka není nová, chce se podotknout, že zřejmě jakákoliv umělecká kvalita nese stopy předchozího literárního či obecně uměleckého vývoje. Záleží však na tom, do jaké míry jsou jisté jednotliviny předchozího estetického vývoje začleněny nebo nezačleněny do autorské interpretace kontinua vzájemné interakce autora a proměny reality. U Dostojevského tato celková originální umělecká interpretace světa byla už od samého počátku patrná a možné přejaté jednotliviny jsou této nové, ozvláštňující koncepci přece jen rozhodujícím způsobem podřízeny. Nejsou tak zřejmě důležité jednotlivé přejaté momenty, ale jejich začlenění do obecnější roviny autorské interpretace. Jestliže komparativní genologická bádání ozřejmují vlivy a předchůdné poetické děje, pak je třeba z hlediska této metodologie zapojit do možných závěrů o podobnosti také celkový umělecký komplex, do něhož byly přejaté prvky zapojeny.

V práci pokládáme za důležité zdůraznit hutnou charakteristiku Wolmannova vývojového paradigmatu slovanských literatur a jejich podstatného znaku. Vedle toho Pospíšil podal souhrn a formulaci vlastních kritérií pro utváření literárněhistorické koncepce a strukturace vývoje slovanských literatur. Za podstatný znak ruské literatury je pokládána dualita a v jisté fázi vývoje ruské literatury růst významu stacionárních žánrů. Rovněž pak je třeba v Pospíšilových úvahách o literatuře zdůraznit pasáže věnované baroku, romantismu, triviální literatuře či fragmentu, staroruské literatuře, pojetí umění jako hry, koncepci umění jako paralelního či alternativního světa.

Lze učinit závěr, že Pospíšilův text lze vnímat jako souhrn teoretického uvažování o teorii literárních dějin s areálovými a speciálními okruhy, jako pohled na ruskou literaturu zevnitř i zvnějšku, její absorpce cizích, alochtonních podnětů i jejich využívání jako pretextů v jiných literaturách. Jsou ozřejmována specifika ruské literatury, její posuny, žánrová skladba, žánrové systémy, zejména pak román. Pospíšilova kniha v mnohém působí jako příslib nových srovnávacích dějin slovanských literatur nebo může být chápána jako přípravná studie pro rozpracování celkové koncepce historie ruské literatury a literatur slovanských. Přispívají k tomu úvahy o nadnárodním poetickém vlivu a interakci literatur v jejich celosvětovém měřítku. A to není možné bez teoretické reflexe, případových a přípravných studií, stejně jako bez nahlížení do koncepcí areálové, komparativní, kulturologické a genologické slavistiky novější doby. Všechny tyto uvedené aspekty kniha obsahuje.

Zdeněk Pechal

Инна Кулиш

Россия, Благовещенск

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ СТАТУС АВТОРСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В РУСИСТИКЕ (ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

ABSTRACT:

Linguistic Status of Authors' Sayings in Russian Studies (phraseological aspect)

The article deals with aphorisms viewed as phraseological units that convey spiritual cultural values of the society. Thematic and structural variety of aphorisms, and sources of their origin are being investigated on the basis of outstanding Russian people's aphorisms.

KEY WORDS:

Aphorism – phraseological unit – proverbs and sayings – source of origin – structure – thematic differentiation – winged words.

*...Мысль! Великое слово! Что же составляет
величие человека как не мысль?*

А. С. Пушкин

С античных времён авторские высказывания (*далее – афоризмы*) играли важную роль в духовной культуре общества и изучались в риторике и стилистике, в философии, истории и литературе. В современном языкознании, несмотря на многочисленные разноплановые исследования природы афоризмов, вопрос об определении сущности афоризма, параметрах его отграничения от других малоформатных текстов, остаётся открытым.

Афоризмом принято считать краткое изречение, в котором в лаконичной, выразительной форме излагается обобщённая мысль. Афоризм как литературный жанр включает в себя пословичные изречения, крылатые слова, сентенции (афоризмы без имени автора), максимы (афоризмы морального содержания), гномы (нравоучительные изречения в стихах), хрии, парадоксы, анекдоты и др. В лингвистике имеется, по крайней мере, четыре подхода к исследованию афоризмов – стилистический, фразеологический, текстоцентрический, психолингвистический. Предметом данной статьи является фразеологический аспект авторских высказываний-афоризмов как отражения духовной культуры народа; их источники, тематика и структура будут рассмотрены на материале афористических высказываний выдающихся людей России прошлого и настоящего.

Напомним, что в рамках фразеологического подхода любая фразеологическая единица (*далее – ФЕ*) характеризуется набором определяющих признаков: а) устойчивостью (т.е. степенью семантической слитности компонентов), б) воспроизводимостью (т.е. возобновляемостью в речи в виде готовой речевой единицы), в) семантической целостностью значения (т.е. внутренним смысловым единством), г) раздельно-оформленностью компонентов (т.е. состоит из отдельных слов, каждое из которых имеет собственное лексическое значение). Применительно к теме нашего исследования сказанное выше сводится к следующему: авторские высказывания-афоризмы обладают всеми определяющими признаками ФЕ и на этом основании могут быть признаны фразеологизмами.

Взгляд на афоризмы как ФЕ представлен в русистике, прежде всего, Н. М. Шанским, выступавшим за широкое понимание фразеологии и дополнившим фразеологическую классификацию акад. В. В. Виноградова разрядом фразеологических выражений, в который он включил ФЕ, представляющие собой разговорно-бытовые штампы (поговорки), а также ФЕ афористического характера (пословицы и крылатые слова) [Шанский 1985: 76]. В классификации Шанского «собственно афоризмы» входят в состав крылатых слов. На основе анализа дефиниций в наиболее авторитетных современных лингвистических словарях мы установили, что многие выдающиеся учёные-лингвисты (В. И. Даль, С. И. Ожегов, О. А. Ахманова, В. Н. Ярцева, С. А. Кузнецов, и др.) также не проводят чёткого разграничения между афоризмами и крылатыми словами, толкуя термин «крылатые слова» в переносно-расширительном смысле [Даль 2006; Современный толковый словарь русского языка

ка 2006; Ожегов 2007; Лингвистический энциклопедический словарь 2007; Ахманова 2010].

Действительно, выделить объективные основания для отграничения собственно афоризмов от пословиц и крылатых слов представляется непростым делом. Тот факт, что некоторые авторские высказывания воспринимаются сегодня в языке как пословицы (то есть фактически находятся на переходной стадии), объясняется постепенным стиранием памяти об авторе изречения, и авторство начинает приписываться народу, например: *Лес рубят – щепки летят* (А. К. Шеллер-Михайлов). Не менее сложно отделить афоризмы от крылатых слов. Так, приведённые ниже выражения из произведений русской литературы называют и афоризмами, и крылатыми словами: «*Счастливые часов не наблюдают*» (из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»); «*Любви все возрасты покорны*» (из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин»). Фактически, до настоящего времени в лингвистике не существует единого мнения по поводу статуса этих лексических единиц и терминологии. На наш взгляд, заслуживает внимания предложение современного исследователя Л. А. Нефёдовой использовать понятие афоризма в его широком толковании – как *гипероним* по отношению к *когипонимам* [Нефёдова 2005: 85], включив все «универсальные высказывания» (*термин В. И. Карасика*) – пословицы, поговорки, крылатые слова, сентенции, максимы – в состав афоризмов [Карасик 2004: 314].

Основными источниками современных афоризмов в русистике являются а) цитаты из произведений классиков литературы: «*Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно*» (М. Ю. Лермонтов), «*Аппетит приходит во время еды*» (В. В. Маяковский), «*Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии*» (С. Есенин); б) произведения известных писателей: «*Любой каприз за ваши деньги*» (И. Ильф и Е. Петров «Золотой телёнок»), «*Будущее строится нами – но не для нас*» (Аркадий и Борис Стругацкие), «*Лишь тот, кто мыслит – тот народ! Все остальные – население!*» (Е. Евтушенко); в) изречения исторических деятелей прошлого, например: «*Руководить – значит предвидеть*» (Л. Троцкий), «*Промедление смерти подобно*» (Пётр I); г) остроумные, ёмкие по смыслу высказывания известных людей современности: «*Беден не тот, у кого мало, а тот, кому мало*» (акад. Д. С. Лихачёв); г) Библия, другие религиозные и философские трактаты: «*Ничто не вечно под луной*», «*Не хлебом единым жив человек*»; д) античная мифология: «*И ты, Брут*» (Юлий Цезарь); е) популярные тексты телевизионной рекламы: «*Улыбнись жизни, и она улыбнётся тебе в ответ*»; ж) популярные художественные фильмы, например: «*Чув-*

ствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях» (из к/ф «Афоня»); *«Восток – дело тонкое»* (из к/ф «Белое солнце пустыни»).

Представляется очевидным, что афоризмы содержат значимую национально-культурную информацию о материальной и духовной жизни народа-носителя языка. Тематическая дифференциация афоризмов подтверждает, что доминантами афористического творчества русского народа выступают познание и нравственность. Приведём лишь некоторые категории: гуманность и жестокость, совесть и власть, победа и поражение, роскошь и нужда, благоразумие и трусость, правда и ложь, честность и лицемерие, свободный человек и раб.

Афоризмы выступают своего рода «кодексом» общечеловеческой нравственной мысли, вращающейся вокруг идеи единства общественного и личного, мысли и поступка, сердца и разума, принимая в каждую эпоху свои особенности и наполняя жизнь ценностным смыслом. Как пишет В. Н. Назаров, «афоризм предстаёт наиболее точным «переводом» нравственности с «языка сердца» на «язык разума» и наоборот» [Назаров 1990: 8]. В афоризмах отчётливо прослеживаются национально-специфические черты менталитета, нравственности, мировидения русского народа – страстность натуры, высота помыслов, максимализм, следование христианским добродетелям. Приведём лишь некоторые примеры:

Держайте Отчизну мужеством прославить! (М. В. Ломоносов);

Самое страшное для человека – это превратиться в спящего с открытыми глазами, смотреть – и не видеть, видеть – и не думать, о том, что видишь, добру и злу внимать равнодушно, проходить спокойно мимо зла и неправды (В. А. Сухомлинский);

Сострадание есть высочайшая форма человеческого существования (Ф. М. Достоевский).

С точки зрения структуры, афоризмы обладают рядом формальных признаков, таких как структурная замкнутость, закреплённый порядок слов, смысловая завершённость, относительная краткость, глубина суждения, обобщённость, особая выразительность, а также самый главный признак – наличие в их составе актуализированных слов-концептов. Цельность и экспрессивность афоризмам придаёт широкое использование стилистических тропов, например, анафора: *Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в сравнении с нею* (В. Г. Белинский); антитеза: *Где слабый ненавидит – сильный уничтожает* (А. С. Грин); риторический вопрос: *Послушайте, ведь если звёзды за-*

жигают – значит, это кому-нибудь нужно? (В. В. Маяковский); риторическое восклицание: *Любить! Какое громадное, гордое, страшное, сладостное слово...* (А. И. Куприн).

Композиционно афоризмы, как правило, состоят из конкретной мысли и вытекающего из неё умозаключения либо только из итогового умозаключения, оставляя предшествовавшие ему рассуждения за пределами афоризма. Например, афоризм, представляющий собой чистое суждение: *Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедр гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка* (А. И. Герцен); афоризм, включающий в себя и конкретную мысль, и итоговое умозаключение: *Человек оставляет себя в человеке. В этом человеческое бессмертие. Думай, как твои поступки отражаются на душевных переживаниях другого человека»* (В. А. Сухомлинский).

Афористика не накладывает никаких ограничений на использование синтаксических конструкций, поэтому в русском афористическом материале можно найти самые разные типы предложений. Рассмотрим структурную дифференциацию афоризмов на примере авторских высказываний выдающихся людей России.

Простое двусоставное неосложнённое предложение: *Все победы начинаются с победы над самим собой* (Л. М. Леонов).

Сложное бессоюзное предложение, например: *Мне всегда было непонятно – люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства* (Ф. Г. Раневская).

В составе всех типов простых и сложных предложений, выражающих афоризм, могут быть использованы осложняющие элементы – однородные члены предложения, обособленные второстепенные члены предложения, обращения, вводные и вставные конструкции. Так, афоризм *Линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека* (А. И. Солженицын) представляет собой простое предложение с обособленным определением; а структура афоризма *Жить – значит, чувствовать и мыслить, страдать и блаженствовать, всякая другая жизнь – смерть* (В. Г. Белинский) осложнена однородными членами.

Среди сложноподчинённых предложений большую часть составляют предложения с изъяснительными и определительными придаточными, затем – с обстоятельственными. Например, сложноподчинённое предложение с изъяснительным придаточным: *Молодость счастлива тем, что у неё есть будущее* (Н. В. Гоголь); с определительным придаточным: *Творчество – это страсть, умирающая в форме* (М. М. Пришвин). Сложноподчинённые предложения с различными видами обстоятельственных придаточных: а) с придаточным места: *Там, где*

у женщин не развито чувство чести и достоинства, процветает нравственное невежество мужчин (В. А. Сухомлинский); б) с придаточным времени: *Мысль, прежде чем стать мыслью, была чувством* (К. С. Станиславский); в) с придаточным сравнения: *Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей* (А. С. Пушкин); г) с придаточным условия: *Если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь сначала прощать* (А. В. Вампилов).

Однако чаще всего русские афоризмы синтаксически выражены сложной синтаксической конструкцией, которая представляет собой предложение с разными видами сочинительной и подчинительной связи: *Не тот богат, кто отсчитывает деньги, чтобы прятать их в сундук, а тот, который отсчитывает у себя лишнее, чтобы помочь тому, у кого нет нужного* (Д. И. Фонвизин). Ещё более сложная синтаксическая конструкция, характеризующаяся структурно-смысловым единством – сложное синтаксическое целое. Подобные конструкции в афористике частотны, так как они предоставляют множество возможностей для выражения оригинальных мыслей-изречений. Примеры сложного синтаксического целого:

Самое дорогое в человеке – жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы... и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества (Н. Островский);

Вся гордость мира от матерей. Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя (М. Горький).

Предпринятое нами исследование афоризмов в теоретическом и практическом аспектах подтверждает, что авторские высказывания-афоризмы, обладая всеми определяющими признаками ФЕ, хранят бесценную информацию о менталитете народа, его культуре, этических и эстетических представлениях; они являются поистине сокровищницей общечеловеческой мысли, что обеспечивает их большую познавательную ценность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- АХМАНОВА, О. С. (2010): *Словарь лингвистических терминов*. 5-е изд. М. с. 212.
БЕРКОВ, В. П. (2000): *Большой словарь крылатых слов русского языка* /В. П. Берков, В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежкова. М.
Большой фразеологический словарь русского языка: Значение. Употребление. Культурологический комментарий (2006) /отв. ред. В. Н. Телия. М. (Фунда-

ментальные словари).

Великие мысли великих людей: Антология афоризма (1999): в 3 т. /сост. А. П. Кондрашов. М. (Мегапроект «Пушкинская библиотека»).

ДАЛЬ, В. И. (2006): *Толковый словарь живого великого русского языка*: в 4 т. Т. 1. 11-е изд. стер. М. с. 30.

КАРАСИК, В. И. (2004): *Язык социального статуса*. М. с. 314.

КОРОЛЬКОВА, А. В. (2005) *Словарь афоризмов русских писателей* /А. В. Королькова, А. Г. Ломов, А. Н. Тихонов. 2-е изд., стер. М.

Лингвистический энциклопедический словарь (2007) /гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд., доп. М. с. 246.

НЕФЁДОВА, Л. А. (2005): *Прецедентные тексты современных немецких афоризмов (на материале книги заметок и афоризмов Элмара Шенкеля)*. In: *Филологические науки*. 2005. № 4. С. 84–93.

ОЖЕГОВ, С. И. (2007): *Словарь русского языка* /под общ. ред. Л. И. Скворцова. 25-е изд., испр. и доп. М. с. 38.

Разум сердца: Мир нравственности в высказываниях и афоризмах (1990) /сост.: В. Н. Назаров, Г. П. Сидоров. М. с. 8.

Современный толковый словарь русского языка (2006) /Ин-т лингв. исследований РАН; авт. проекта и гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. с. 28, 304.

ШАНСКИЙ, Н. М. (1985): *Фразеология современного русского языка*. М. с. 76.

4. mezinárodní slavistická konference - GranaSlavic 2014

Ve dnech 4. – 6. června 2014 se ve španělské Granadě konala v pořadí již čtvrtá mezinárodní slavistická konference GranaSlavic 2014 – Andalusian Symposia on Slavic Studies. Pořádající institucí byla katedra slavistických studií Fakulty humanitních věd Granadské univerzity, která v tomto roce slaví 20 let od založení studia slavistiky v Granadě. Předchozí slavistické konference zde proběhly v letech 1992, 1996 a 2004. GranaSlavic 2014 se tak konala na počest uvedeného kulatého výročí granadské slavistiky a zároveň byla organizační přípravou na 13. mezinárodní kongres MAPRJAL, který v Granadě proběhne 13. – 20. 9. 2015.

Konference ve svém programu i skladbě zúčastněných zdůrazňovala dva základní koncepty – vícejazyčnost a mezioborovost bádání. Pracovními jazyky tedy byly angličtina, ruština, španělština, polština, bulharština, slovenština a srbština. Jednání pak bylo strukturováno do šesti sekcí – Studium a výuka slovanských jazyků a kultur; Slovanské literatury a kultury; Média, politický diskurs a mezinárodní vztahy; Historie, kultura a pohled na svět; Lingvistická bádání; Překlad do a ze slovanských jazyků. Konference se zúčastnilo přes 200 referujících ze 30 zemí světa. Byla zde zastoupena jak různorodá témata celého slavistického areálu (ruština, ukrajinština, polština, čeština, slovenština, srbština, bulharština, chorvatština), tak významná slavistická pracoviště – například Ruská akademie věd (A. D. Šmeljev, A. A. Zalizniak), University College z britského Oxfordu (Michael Nicholson), University of Tromsø z Norska (Laura Janda) či americká Columbia University z New Yorku (Yuri Schevchuk).

Pracovní jednání konference byla vždy uvedena reprezentativní přednáškou čestného hosta (tzv. *keynote speaker*). Zazněla tak přednáška A. D. Šmeljeva (vedoucí sekce ruské kultury Ruské akademie věd) o tzv. „historické paměti“ jazykových výrazů typu *мир, воля, смирение, примирение* v kontextu vývoje ruského jazyka a kultury. Dále vystoupil Michael Nicholson (University College, Oxford) s přednáškou o vývoji poetiky a témat v tvorbě Alexandra Solženicyna ve 40. a 50. letech 20. století. K vrcholům konference zajisté patřily dvě přednášky věnované nejednoznačné problematice ruské aspektuálnosti a interpretace vidové dvojice. První přednesly Anna Zalizniak (Ruská akademie věd) a Irina Mikaelian (The Pennsylvania State University) – *Русская глагольная префиксация и проблема видовой парности*. Poté na totéž téma vystoupila Laura Janda (University of Tromsø): *Extending the verb classifier hypothesis: aspectual prefixes as sortal classifiers in Slavic and procedural prefixes as measural classifiers in east Slavic and*

Bulgarian. Čestným hostem konference byl i prof. Jiří Černý (Univerzita Palackého, Česká republika) s přednáškou na téma *Španělské semiracionální konstrukce a jejich české ekvivalenty*. Prof. Černý od počátku slavistických studií v Granadě významně podporuje české oddělení a dodnes je jejich blízkým spolupracovníkem.

V širokém obsahovém záběru konference se profilovala především následující témata – globalizační procesy v současné kultuře a literatuře, kulturologická interpretace jak jazykových, tak literárních jevů (např. Stefano Aloe /University of Verona/: *Глушь, глубина и ссылка: К пониманию пространства в русской культуре*), aktuální procesy ve vývoji současných slovanských jazyků (např. otázky gramatikalizace, charakteristiky normy současné srbštiny, chorvatštiny; analytické tendence v premodifikaci ruských jmenných frází – Andrey Gorbov /Petrohradská státní univerzita/; konkurence genitivu a akuzativu ve jmenné deklinaci v současné polštině – Beata Sylwia Chachulska /Oldenburgská univerzita/ či pragmatizace významu sloves pomocí dvou a více předpon v současné ruštině a bulharštině – Nelya Ivanova /Universita Assena Zlatarova, Burgas/ aj.) a analýza současného diskurzu, které byla věnována řada referátů. Laska Laskova (Universita Sv. Klimenta Ochridského v Sofii) například studovala anglické složené předložky jako ukazatele strukturace diskurzu (tzv. *discourse markers*), Olga Inkova z Ženevské univerzity pojednávala o funkční třídě konektorů. Velký prostor pak byl věnován příspěvkům analyzujícím současný veřejný, mediální a politický diskurz z hlediska jeho strategií a tendencí (např. Yuri Schevchuk /University of Columbia/ – jazyk ukrajinského Majdanu jako inovace a kreativita v době revoluce; Ala Diomidova /Vilnius University/ – konceptualizace krásy v ženském reklamním diskurzu; Jelena Šmeljeva /Ruská akademie věd/ – současná podoba a funkce žánru anekdoty ve veřejném diskursu). Zazněly i příspěvky hodnotící stylizační úroveň veřejných činitelů (Enrique Santos Marinas /Complutense University of Madrid/ – kolokvialismy v řeči Vladimíra Putina; Martina Berrocal /Friedrich-Schiller University, Jena/ – solidárnost či nezdvořilost v řeči českých poslanců; Jekaterina Mazara /Curyšská univerzita/ – implicitní strategie v politickém diskurzu v postsovětském prostoru a užití negativní ironie v ruských televizních debatách).

GranaSlavic 2014 tak nabídla široký prostor pro dialog a věcnou diskusi v oblasti současného slavistického bádání. Témata, osobnosti i odborná vědecká pracoviště, které zde byly zastoupeny, zaručily vysokou vědeckou úroveň pracovního jednání i prostor pro bohatou inspiraci a navázání nových kontaktů.

Jindřiška Kapitánová

Návštěva profesora M. A. Krongauze na katedře slavistiky FF UP

Dne 9. října 2014 jsme měli tu čest přivítat na katedře slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého prof. Maxima Anisimoviče Krongauze, DrSc., vedoucího katedry ruského jazyka a zároveň ředitele Institutu lingvistiky Ruské státní humanitární univerzity v Moskvě. Pole vědecké činnosti a odborných zájmů profesora Krongauze je obdivuhodně široké: zahrnuje oblast sémiotiky, strukturní lingvistiky i aplikované lingvistiky. Ve svých monografiích a četných odborných statích se profesor Krongauz věnuje problematice sémiotiky jazyka a kultury, gramaticy ruštiny, sémantice, teorii dialogu, politickému diskurzu, humoru apod. V posledních letech se zaměřuje také na vývojové tendence v současném ruském jazyce, a právě této tematice byly věnovány tři přednášky, které během své návštěvy proslavil.

Na začátku první, dopolední přednášky, která se těšila velké účasti z řad studentů i vyučujících katedry, představil profesor Krongauz své dvě nejnovější publikace věnované právě současné ruštině a vývojovým změnám, které ji postihují: *Русский язык на грани нервного срыва 3D* (2012) a *Самочуитель Олбанского* (2013). Profesor Krongauz přiblížil posluchačům dva nejdůležitější mezníky, které měly vliv na vývoj současného ruského jazyka: jedná se o perestrojku a následný rozpad socialistického bloku a také vznik a rozvoj internetu. Přednáška byla dále zaměřena především na lexikální rovinu jazyka a byly uvedeny četné příklady internacionalismů, neologismů a žargonismů z takových oblastí, jako je jazyk mafie, jazyk spojený s rozvojem počítačové techniky a internetu, jazyk mládeže, profesionální žargon nebo žargon moskevských taxikářů. V neposlední řadě se profesor Krongauz dotkl tématu vytěsňování slov i celých skupin slov z jazyka a nastínil možnosti vývoje ruštiny v budoucnu. Vyslovil také domněnku, že období chaosu v jazyce pomalu spěje ke svému konci a jazyková správnost se stále více stává otázkou prestiže.

Také na druhé přednášce se posluchačstvo sešlo v hojném počtu a vyslechlo přednášku na téma řečová etiketa. Na úvod představil profesor Krongauz tzv. teorii tří osob, podle níž je první osoba užívána při představování, druhá osoba při oslovování a třetí osoba v referenčním významu. Přednáška byla zaměřena na problematiku oslovení, na kterou lze nahlížet z morfologického, syntaktického i pragmatického hlediska. A především poslednímu jmenovanému hledisku se profesor Krongauz věnoval nejpodrobněji: do svého výkladu zahrnul problematiku interkulturních rozdílů v oslovování, otázku tykání a vykání, uvedl také příklady různých typů oslovení v závislosti na charakteru řečové situace a vztahu mluvčího k adresátovi. Bezesperu

velmi přínosný byl pro studenty výklad týkající se oslovení neznámého člověka na ulici, jelikož v ruštině v současnosti není jednoznačný neutrální výraz použitelný v takové situaci.

Podvečerní, v pořadí třetí a zároveň poslední přednáška byla určena především doktorandům katedry a byla zaměřena na téma jazyka internetu. Profesor Krongauz blíže představil dvě období vývoje jazyka internetu, a to období rozvoje blogů a s ním spojeného vzniku tzv. jazyka padonků, deformovaného jazyka založeného na hře s ortografií a používaného primárně pro hodnocení článků a jejich autorů na blozích, a období rozvoje sociálních sítí, ve kterém mají zásadní funkci tzv. lajky. Profesor Krongauz přiblížil posluchačům také téma emotikonů a jejich funkcí v internetové komunikaci a dotkl se fenoménu internetových memů – pohovořil především o specifikách memů v ruském internetovém prostředí a také o pozadí vzniku nejslavnějších memů na ruském internetu. Velice zajímavý byl také výklad o specifických a méně rozšířených jevech, které se v posledních letech na internetu objevují, např. o abreviaturách přejatých z angličtiny nebo jazykové hře spojené s přepínáním ruského rozložení klávesnice na anglické apod. Nakonec byly nastíněny perspektivy budoucího vývoje jazyka internetu a otázka možnosti kodifikace některých nových jazykových jevů objevujících se na internetu.

Závěrečná diskuze, ve které jsme se vrátili k tématu řečové etikety a zejména problematice interkulturních rozdílů v oslovování, nebrala konce. Profesor Krongauz ochotně zodpověděl četné dotazy týkající se především pravidel oslovování v e-mailové korespondenci formálního charakteru a vyjádřil se mimo jiné také k dotazům ohledně užití jména po otci v současné ruštině.

Prof. Krongauz se projevil nejen jako vynikající odborník, ale také jako výborný řečník, který dokáže i náročný výklad podat přehledně, zasvěceně a poutavě. Všichni zúčastnění tak mohli po skončení přednášek odcházet s pocitem užitečně a zároveň velmi příjemně stráveného dne.

Jaroslava Němčáková

Mezinárodní konference o emigraci v polském Opolí

Ve dnech 22. – 23. září 2014 proběhla v polském Opolí mezinárodní vědecká konference *Славяне в зарубежье: литература – культура – язык*, jež byla organizovaná Radou slovanské emigrantologie při Mezinárodním komitétu slavistů, Institutem východoslovanské filologie Opolské univerzity, Institutem neofilologie Ratibořské vyšší odborné státní školy a Opolským oblastním oddělením společnosti pro spolupráci Polsko-Východ. Konference se zúčastnilo více než šedesát vědců z Polska, Ruska, Itálie, Německa, Česka a Turecka. V průběhu konference proběhlo zasedání Rady slovanské emigrantologie Mezinárodního komitétu slavistů, na němž bylo zvoleno vedení Rady a koordinátoři ze zúčastněných států (za Českou republiku Zdeněk Pechal), byl přijat program činnosti, a také bylo rozhodnuto o vydání ročenky a její vědecké redakci, která bude zaměřena na problémy slovanské emigrace. Z konference vyjde dvousvazková recenzovaná knižní publikace.

Zdeněk Pechal

V časopise jsou publikovány původní vědecké a odborné studie s filologickou problematikou (od r. 2008 tvoří původní stati 80 % obsahu čísla) a další materiály (recenze, zprávy, kronika) z oblasti jazykovědné a literárněvědné rusistiky a dalších slovanských filologií. Příspěvky lze publikovat ve všech slovanských jazycích a v angličtině. Příspěvky jsou opatřeny anglickým abstraktem. V r. 2008 byla ustavena redakční rada a všechny příspěvky důsledně procházejí nezávislým, anonymním recenzním řízením.

Jsou přijímány pouze příspěvky, které nebyly dosud publikovány a nejsou přijaty k publikaci v jiném časopise, v tomto smyslu se podepisuje s autorem příspěvku přijatého k publikaci licenční smlouva vypracovaná právním oddělením UP v Olomouci. Poskytnuté příspěvky musí respektovat níže uvedené formální pokyny. V případě jejich nedodržení se příspěvky vrací autorům k úpravám a doplněním.

Všechny příspěvky procházejí nezávislým, objektivním, anonymním recenzním řízením (dva nezávislí posuzovatelé, z nichž ani jeden není členem redakce či pracovníkem stejného pracoviště jako autor či spoluautor).

Příspěvky je možno zasílat během celého roku. Uzávěrka je vždy k poslednímu dni měsíce ledna a června příslušného roku.

Pokyny pro autory:

Texty příspěvků zasílejte na e-mail:

jindriska.kapitanova@upol.cz (studia linguistica),

jitka.komendova@upol.cz (studia literaria).

Soubor v elektronické podobě musí být uložen pod příjmením autora (bez diakritiky, latinkou) s koncovkou .doc nebo rtf (např. novak.rtf, vychodil.doc).

Struktura a úprava příspěvku:

Jméno autora bez titulů v pořadí: jméno, (jméno po otci), příjmení.

Stát a město, v němž autor příspěvku působí.

Název příspěvku.

Abstrakt v angličtině v rozsahu min. 500 až 700 znaků s mezerami včetně názvu stati v angličtině. Uvádí se za slovem Abstract:

Klíčová slova v angličtině: 10–15 slov, oddělují se pomlčkami. Uvádí se za slovy Key Words:

Text příspěvku: základní text font Times New Roman, vel. 12 pt, řádkování 1,5, zarovnání vlevo, okraje 2,5 (nahore, dole, vlevo i vpravo). Neformátovat – formátování se v převodu do sázecího editoru ruší. Entrem oddělovat pouze odstavce, odstavce neodrážet ani neoddělovat mezerami. Nestránkovat (stránky vyznačit případně pouze na tištěný text ručně). Mezititulky neoddělovat mezerami.

Celý text a všechny další součásti se píše fontem Times New Roman, vel. 12 pt. Doporučený minimální rozsah 27 000 znaků včetně mezer (včetně jména, názvu, abstraktů, klíčových slov, vlastního textu, poznámek, seznamu použité a excerpané literatury). Klíčová slova v textu (bez uvozovek) a příklady (bez uvozovek) se uvádějí kurzívou. Pro zvýraznění používejte tučné písmo. Podtrhávání není přípustné. Citace se uvádějí uvozovkami specifickými pro každý jazyk. Odkaz na citovanou či použitou literaturu se uvádějí v hranatých závorkách s uvedením příjmení autora, roku a čísla strany: [Novák 1997: 65]. Poznámky pod čarou používejte pouze pro doplňující informace, nikoli jako odkaz na literaturu - budou převedeny na vysvětlivku za textem.

Příklady uvádění jednotlivých titulů (základní formy) v seznamu literatury:

Kniha, monografie, učebnice:

CRYSTAL, D. (2001): *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.

Článek v časopise:

GREGOR, J. (2006): *Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině (z hlediska lingvodidaktického)*. Opera slavica XVI, 2006, č. 4, s. 11–26.

Příspěvek ve sborníku:

JANČÁK, P. (1989): *Mluva v severozápadočeském pohraničí*. In: F. Daneš – J. Bachmannová – S. Čmejrková – M. Krěmová (eds.): *Český jazyk na přelomu tisíciletí*. Praha: Academia, s. 239–249.

Informace o autorovi:

Jméno včetně titulů.

Stručný odborný vědecký profil.

Adresa pracoviště.

Internetová stránka pracoviště.

E-mail.

Autoři odpovídají za jazykovou a gramatickou správnost textu. Příspěvky v rozporu s uvedenými pravidly, neschválené recenzním řízením či neodpovídající zásadám etiky nebudou publikovány.

Требования к оформлению статей

Общие требования:

Для публикации в журнале принимаются статьи филологического, т.е. языковедческого, фразеологического, литературоведческого, переводческого содержания на всех славянских языках и английском языке, рецензии, информация о научных конференциях. Материалы публикуются бесплатно.

Принимаются только материалы, которые до сих пор не были опубликованы в другом журнале – в этом смысле с авторами статей заключается и подписывается соглашение о предоставлении редакции права опубликовать данные материалы.

Предоставленные в редакцию статьи должны соблюдать указанные ниже требования. В случае несоответствия материалов требованиям последние возвращаются авторам для переработки.

Все статьи подвергаются независимому, объективному, анонимному рецензированию.

Материалы в редакцию можно предоставлять в течение всего года. Первый номер выходит обычно в первой половине года, второй к концу того же года.

Авторы статей, рецензий, информации о конференциях, хроник несут персональную ответственность за языковую и грамматическую точность текста. Отклоненные рецензентами тексты к публикации не допускаются.

Тексты для публикации высылать по эл. почте: jindriska.kapitanova@upol.cz (studia linguistica), jitka.komendova@upol.cz (studia literaria).

Требования к оформлению статей, материалов

Файл должен быть назван по фамилии автора только латинскими буквами с концевым *doc* или *rtf*. (например, *novak.doc* или *novak.rtf*).

Структура статьи:

Имя, (отчество) и фамилия автора.

Название страны и города.

Название статьи на языке статьи.

Резюме на английском языке, включая переведенный на английский язык текст названия статьи. Текст резюме приводится после слова *Abstract*. Объем резюме ок. 500–700 знаков.

Ключевые слова (10–15 слов под рубрикой *Key Words*).

Основной текст статьи печатается 12 кеглем в New Times Roman, междустрочный интервал 1,5. Все поля – 2,5 мм. Абзац обозначать только с помощью клавиши Enter, переносов не делать, страницы не нумеровать.

Редактор: Word for Windows.

Рекомендуемый минимальный объем текста 27 000 знаков (включая интервалы, текст, резюме и список использованной литературы).

Ключевые слова и слова-примеры, предложения-примеры выделять курсивом, в случае необходимости – жирным.

Цитаты выделять кавычками, не используя курсив.

Ссылки в тексте оформляются квадратными скобками, где приводится фамилия автора, год издания и страница по образцу: [Бархударов 1975: 190–213].

Сноски просьба использовать только для примечаний, ссылки на использованную литературу оформлять так, как указано выше.

Подчеркивания не допускаются.

Список использованной литературы приводятся в конце статьи под рубрикой

Использованная литература.

Книга:

CRYSTAL, D. (2001): Language and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press.

Статья в журнале:

GREGOR, J. (2006): Verbonominální spojení MÍT + abstraktum a jejich ekvivalenty v ruštině (z hlediska lingvodidaktického). Opera slavica XVI, 2006, č. 4, s. 11–26.

Статья в сборнике:

JANČÁK, P. (1989): Mluva v severozápadočeském pohraničí. In: F. Daneš – J. Bachmannová – S. Čmejrková – M. Krčmová (eds.): Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, s. 239–249.

Профиль автора:

Ф.И.О., включая ученую степень, звание

Краткое представление научных интересов автора

Полный адрес университета (места работы)

Веб-сайт:

Е-майл:

Katedra slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vás srdečně zve na

XXIII. ročník mezinárodní vědecké konference

OLOMOUCKÉ DNY RUSISTŮ

Konference se uskuteční ve dnech **10. – 11. září 2015** na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v České republice.

Plánováno je jednání v lingvistické, frazeologické, translátologické a literárněvědné sekci. Jednacím jazykem konference bude ruština.

V roce 2015 se jednotlivé sekce budou věnovat tematickým okruhům:

- Komunikační strategie v současném veřejném a publicistickém diskurzu
- Synkretismus – univerzální a specifické. Srovnávací výzkum jevů synkretismu v slovanských jazycích na všech úrovních jazykového systému
- Frazeologie a neologie
- Problematika překladu současné ruské prózy
- Literatura ruské emigrace meziválečného období. Centra, spolky, tvorba, estetika, osobnosti
- Haličsko-volyňský letopis jako pramen k dějinám literatury a kultury

Registrace na konferenci a zaslání abstraktu příspěvku je do 16. 4. 2015. Více informací najdete na internetových stránkách konference: www.odr.upol.cz.

Кафедра славистики Философского факультета Университета

им. Палацкого в Оломоуце

приглашает Вас принять участие в

XXIII международной научной конференции

ОЛОМОУЦКИЕ ДНИ РУСИСТОВ

Конференция пройдет с **10 по 11 сентября 2015** на Философском факультете Университета им. Палацкого в Оломоуце в Чешской Республике.

Работа конференции будет проходить в лингвистической, фразеологической, переводческой и литературоведческой секциях. Рабочий язык конференции – русский.

В 2015 году работа в отдельных секциях будет посвящена следующим тематическим областям:

- Коммуникативные стратегии в современном публичном и публицистическом дискурсе
- Синкретизм – универсальное и специфическое. Сопоставительное исследование явлений синкретизма в славянских языках на всех уровнях языковой системы
- Фразеология и неология
- Проблемы перевода современной русской прозы
- Литература русского зарубежья межвоенного периода. Центры, объединения, творчество, эстетика, личности
- Галицко-Вольнская летопись как источник по истории литературы и культуры

Зарегистрироваться на конференцию и отправить аннотацию Вашей статьи Вы можете до 16 апреля 2015. Более подробную информацию можно найти на сайте конференции: www.odr.upol.cz.